

Борис Левит-Броун

ВНУТРИ

Х/Б

(впечатление)

2004

Заклятие

Да, он прав, проза умирает.

Размеренная долгопись сосредоточенной наивности покинула вместе с детской верой.

Застенок невроза потребовал более быстрой и мучительной казни.

Золото разбилось и расплавилось в камине палача... серебро и все остальные драгоценности – всё расплавилось.

Уцелевает лишь тугоплавкое, лишь стекло, но и оно теряет определённую выверенных форм, еще не течёт, но уже гримасничает нелепыми расплывами.

Нужна скоропись, чтобы успеть сфотографировать его неудержимо расширяющуюся улыбку.

И скоропись пришла, чтобы успеть.

Скоропись и фотоаппарат.

Но я желаю в этой невероятной температуре плавления успеть не за размягчающимся стеклом, а за трескающимся алмазом.

Я не знаю, но... кажется, он должен трескаться мгновенно и тускнеть, и тускнеть...

и гаснуть от избытка преломления, от лишних граней внутри.

..... желаю успеть... и... превращаю скоропись в мгновеннопись – дикий обреченный моментализм, где пыхающий красными щипцами застенок уже не страшен.

.....диавольский науськ... и бормотать... петь, не репетируя, с чужого голоса, слишком напоминающего ультразвуковое верещание монстра.....

..... боюсь... и уже не владею, – а поглаживание равносильно черчению бритвой по спине.....

И где-то совсем недалеко всё знаю о себе... что просто наркотик... когда долго не писал, надо принять... то есть, начать писать... что-нибудь... просто чтобы не умереть от самоудушения извивающимися руками, случайно встретившими горло.

Ребенок вертится в плаценте...

.....он еще повернется и разорвёт-таки материнский живот... если нету...

.....если нету родовых путей, он выйдет через диафрагму...

.....если нету вод, он кровью смочит путь.

Всегда больше боялось, чем хотелось, но не жилось напротив страха. Только внутри.

А неуверенность писать – это ж ещё тоже вопрос!

Каждый раз одно и то же.....
Ведь если «ты» сел писать – весь мир затихни...
слушай...
потому что нет важнее!
И даже глубина космоса стань только широтой, чтобы всеми точками
достигать...
«Ты» – это значит Я.
Опять Я.
Уже пару раз было.....
Или всю жизнь?
Всегда только Я, только Я.....

Ну, будем успокаиваться... таблетка уже действует... уже не извивает рук,
не выворачивает гортань.
Вот, ребята, что значит, вовремя уколоться!
И мы уже нормальны... уже поехало опять, и даже полная бестолковость
поставленной задачи не ломит.
Просто надо разъяснить...
Дело в том, что ничего мы не знаем на свете, кроме одной узкой щели для
подглядывания.
... в неё и смотрим и видим....
... в неё и помним и живём...
Это – «я».

Одно «я» только и свято, потому что им правда просачивает, и всё, что
мы на свете угадываем, мы не угадываем ни черта, а с себя списываем.
....и нечего банальностями утомлять... (хороший писатель... хороший писатель!)...
Ты б ещё начал разъяснять, что человек – это микрокосм и портативное Божие Царство в
складной шахматной досточке для игры в метро.
Ладно... это я так...
Всё!
Вы всё поняли... а главное – что имеете дело с очень умным и
талантливым человеком.

* * *

1

“Тётъ Маля, тётъ Маля... там вашего Лёньку трамваем перерезало!”

* * *

Запудренный первой снеговой проверкой город безжалостно отпускал меня в армию.

У магазинов дворники пытались причесать свежий ковер...

...почему-то лопатами.

И так железно!

Магазины терпеливо морщились... да и какие магазины в семь часов утра?

Они еще вообще не вышли на работу.

Чехлы магазинов терпеливо морщились.

А парадное за мной осталось открытым, как рот, измученный вмешательством дантиста.

Нет... как рот, онемевший от долгой операции удаления миндалин.

В гортани парадного, на втором этаже, бесшумно сочилась свежая рана только что вырванной миндалины.

Меня удалили из собственного дома, как вредоносное воспалительное.

Щипцами военкомата удаляют не очень щадяще, зато очень надежно.

Родине нужны сыновья.

Васильки в венки полевой.

Патроны в рожок.

Чтоб туго и параллельно...

Чтобы не заклинило – когда стрелять.

Родине нужны сыновья!

А матерям – нет.

Во всяком случае, Родине – больше.

Чтоб жили матери и еще рожали.

Потому что Родине – еще нужны.

В городе горели фонари.

Поздние.

Или ранние?...

Железное скрежище ритмично наплывало с каждым новым дворником...

потом откатывало назад...

снова наплывало.
Они ненавидели меня и свои лопаты.
А меня-то за что?
Что видел стыд их барщины за комнату в коммуналке от милостей ЖЕКа?
Простите, девочки в ватниках и мальчики, гребущие за своих дворницких девочек, но что ж тут поделаешь!..
Ведь и вы видели меня, уже навьюченного, уже впряженного в патриотический оброк.

Фонари и окна болели рассветом, схватившим ноябрьский кашелёк.
Еще не оглушенный дубиной настоящих трудностей, я всматривался в призрачные трудности души, мастурбировал только что произошедшую разлуку.
Я видел небесную широту, старчески фиолетовую и вовсе не собиравшуюся мне помочь.
Звёзды уже отключили, а Венера, как всегда забытая, продолжала расточать электричество.

*... руки опять начинает извивать...
в подскочившей до точки плавления температуре опять
командует обреченный моментализм.
Он диктует стройную стихообразную бессмыслицу... –
единственное транспортное средство, способное
догнать... успеть к моменту тресканья алмаза...*

... пять фотографий любимой и плачущей...
...рыдание, выхлестнувшее раздвоенный язык у самой двери...
...дверь, отрубившая этот язык...
(он еще подпрыгивал на мраморе лестниц в наступившей на меня тишине хлопка)...
...где-то там, кажется, мелькнули каменные глаза матери, которую я и в мыслях никогда не называл мамой...
(слишком... слишком сознательно она желала мне этого ада, чтобы посметь заплакать)...
...качнулось за моим плечом чучело бабки, обвисшее на сквозняке отчаяния: ведь уходило последнее – внук...
...туда уходило, куда уже ушел однажды её муж и...
...вернулся стандартным удостоверяющим бланком...
...сорок пять лет назад...
...её первый и последний муж...

Теперь я понимаю, что влажная гримаса моей любимой была праздником жизни в сравнении с обожженными масками поломанных судеб, а тогда я думал, что наше отчаяние самое подлинное.
Мое и её.
Разлученных в центре любовного наводнения.
Не понимающих – за что?.....
Просто разбросало стремниной.
Зазевались – и разбросало....

Да-а-а-а... уж мы зазевались!
Изобильность наших медовых лет.....
.....

Впрочем, не о том!

А о том, что состарившееся небо и не собиралось мне способствовать.
Меня огибало знакомым путём вокруг уже незнакомых зданий, меня вводило в
русло Круглоуниверситетской и полного безвластия своей судьбой, меня
тащило несложным волоком военкоматского распоряжения: **«Явиться 2-го
ноября в 7.30 на призывной пункт по месту жительства. При себе
иметь:.....,**

.....,
.....,
.....,
.....,
.....,

одеться по сезону».

Кружки у меня не было, но была эмалированная чашечка из бабушкиных
залежей.

А вот зато мельхиоровая ложка была.

Они, правда, командовали алюминиевую, но... тоже не нашлось.

Сыр «Пикантный» уже предупреждал из портфеля запахом несвежей обуви,
но в цепенящей суматохе последнего гражданского аллюра я не различал
слабых предупреждений.

Глубина шахты, в которую я уже начал падать, еще отнюдь не обнаружилась.

Военкоматский домик имел ворота с одной стороны и калитку с другой, но за
все мои предпризывные хождения ворота ни разу не открывались. И теперь я
тоже должен был войти в калитку. Я вошел, аккуратно притворив за собой
гражданскую жизнь. Я вошел в оскаленное веселье перепуганных ртов.
Мальчишки стояли кучками и неплохо имитированной бодростью
мундштукованных папирос отгоняли еще не очень назойливого армейского
пса. Они стояли плотно, стараясь разделить свой страх на всех, не понимая,
что страхов столько же, сколько их самих, и что добавляя можно только
умножить.

Загляните в будку живодёра... узнаете!

Если жизнь вылупляет нас из скорлуп только для этого, то я голосую против!

Я и памятью спины не в силах справиться с этой картинкой...

...а может быть, именно, памятью спины?

Я видел голубя, раздавленного троллейбусом...

Я видел старика в луже размноженного черепа...

...я видел, мы видели ...всегда «видели», никогда не... «видим», потому что
видимое – всего лишь наркоз, а настоящая боль – это вспомнутое...
настигшее... вцепившееся в холку.

Казалось бы... раздайте каждому по боли, и пусть идут домой.

Но нас сначала собрали, а потом раздали каждому.

Мне выписали красный билет и отобрали зелёный паспорт.

Нам всем выписали, у всех отобрали, и за закрытыми воротами мы себя
чувствовали уже другими, совсем другими.

А потом и ворота торжественно проскрипели звездами внутрь, и зеленый узик вывернул на брусчатку.
Ну вот... вот и ворота...

* * *

*“Тётя Маля, тётя Маля... там вашего Лёньку трамваем перерезало!”
И она взлетела на том самом ветру, крылья которого, биясь за промчавшейся ватагой, принесли это важное известие. Чем стали для неё ступени, чем стали перила и косо висящий в глазах проём парадного... чем стал обматерённый мелом угол дома, за которым начиналась улица, солнечно и пыльно ожидавшая ее с приготовленным блюдом, с, так сказать, накрытым столом высочайшего кулинарного изыска – мальчиком на рельсах?*

* * *

Ворота военкомата открывались, оказывается!
Всё-таки открывались.
На вывоз.
На организованный увоз.
На доставку.

Еще имевшие многообразные свойства личных походов, личного закрывания калитки при входе (от захлопывания до осторожного притвора), «на вывоз» мы имели лишь одно общее для всех свойство... свойство четырех колёс зелёного узика со старшиной внутри. Вошедшие деревцами, мы выезжали колодами, вернее, это они уже обращались с нами как с колодами, хотя мы ещё не имели удобства обрубленных сучков и довольно мешали друг другу.

Многолетняя служба делает садистами рабочих морга и военкоматских старшин. Они забывают трепет первой жалости к детям и трупам, а на хорошо утрамбованную площадку забвения вкатывается бульдозер метущей радости, сладкое подташнивание зашиваний после вскрытия и разнеженный сугрев в горячем дыхании предармейских агоний.

На ободранность нашего зябкого испуга шутки старшины были как соль:
”Ничего, хлопцы... теперь узнаете сержантский сапог! Сорок пять секунд на одёвку и будьте любезны... мамкину сисю быстро забудете! Щас вас быстренько проверят, в задни... (он сказал – в жопы)... в задницы вам посмотрят, за чле... (он сказал – за) за член подёргают туда-сюда... а там врачихи моло-о-денькие!”

Видимо, и это болезненное для мальчиков обстоятельство не ускользало от его изуверского обжорства.

Мы неслись через Дарницу (горячечный бред хрущёвского человеколюбия) с тяжёлым предчувствием, что нас сейчас будут дёргать за член молоденькие врачихи. Мальчики, как вы знаете, очень ранимые существа. А я и в двадцать три женатых года был не защищённей. Самые робкие из нас старались не смотреть друг на друга. Кто позабористей, пробовали изобразить своё подсмеивание старшине, но он не брался на эту приманку и добродушно гасил их беспомощное холуйство: “Посмейтесь, посмейтесь... ещё минут десять вам есть! Во взвод станешь... тогда посмеёшься!”

Хорошо!

Тут тебе сразу и половое воспитание, и патриотическое.

Красная армия всех сильнее!

* * *

...но за что?

Разлучены навсегда...

В восемнадцать (да, собственно, и в 23) – на два года – это навсегда.

Рябила дурацкая Дарница... хлестали и падали, спотыкаясь о края зрения, домоужасные хозяйки в чудовищной одежде, изрыгнутой необозримым и нечеловеческим маспошивом. Авоськи, оттянутые до земли смиренной ежедневностью, добытой в очередях, цепляли рыхлый снег нашего последнего гражданского утра. Не было надежд и поэтому не хотелось плакать. Слезы очерствели в духовке гортани и приняли форму сухого кубика, мешавшего глотать.

А смотреть мешала скорость и мутное стекло с городом, налипшим на него снаружи.

Наконец Дарница устала попевать за нашим зеленым, и мы, прыгая ухабами, вскочили в «старую Дарницу», полуразложившееся насекомое, родившееся в шестидесятые от последствий социалистической мифологии, которые добрый дикарь Хрущёв искренне хотел смягчить, пытаясь обмануть то, что обмануть нельзя.

Тронутый человеческими землянками, теми самыми, что не тронули Сталина, он решил покончить с этой нуждой и стал срочно возводить многоэтажные жилища путём простого взгромождения одной землянки на другую.

Он знал, что надо много.

Он старался... честно старался сделать побольше.

Но получались только землянки, всё более и более многоэтажные.

Страшная правда этого волевого олигофрена заключалась в том, что, как и все руководители коммунистического типа, он мог только разрушать, (и он, кстати, прекрасно сделал это со сталинской пирамидой).

Созидание же не получалось.

Оно не получилось ни у одного из них.

Только рвануть у богатых и раздать бедным.

Только это у них и получилось.

Когда всё рòздали, а все всё равно остались бедными (я имею в виду – мы), тогда только и осталось, что угрожать да на субботники кликать.

Наша судьба доказывает, что у социализма нет никакой программы, кроме программы разрушения.

Большинство его «достижений» слишком родственно связано с нехорошим словом ликвидация, а редкие высоты «провалов» – со случайно уцелевшими. И вот от полного неумения + страстное желание помочь родилась эта раздавленная сороконожка, полуживой урод, хилое членистоногое с недоразвитыми лапками пятиэтажек и загробным пейзажем одинаковых улочек, которые, как спазмирующий пищевод, трудно пропускали наш кузнечиковый уазик.

Шофер матюгался всеми ё...ными властями, а старшина весело нагонял его за неуставной лексикон.

* * *

Рыхлел снег, чем дальше, тем всё менее разумно убираемый дворниками. Жизнь разваливалась прямо на глазах, и «старая Дарница» впадала в сосущую спячку запустения.

А может, это нам так казалось из наших обрезиненных окошек.

А может, это только мне так казалось в узкое отверстие убежища, из которого я поглядывал. Издали оно могло казаться раковиной, но в действительности было свежей дрожащей ободранностью, в равной мере болезненной снаружи и изнутри. Не было спасительной ороговелости, и немногие еще шевелившиеся *чаяния* таскали за собой кровососущую приставку *-от-*.

Мелькнул уже и дарницкий вокзал – серый двухэтажный клуб с истощным шпилем, унаследованным от предсмертных клятв «отцу отечества». Любимая звезда на пальцах определяла, до какого количества лучей сузился для нас свет.

До пяти.

А можно и радоваться – всё-таки не полный мрак.

И вот перед нами раскинулись, наконец, железные просторы ДВРЗ.

Дарницкий вагоноремонтный так и остался непознанным.

.....только ограды, ограды... и только вагоны, вагоны...

Никуда они не шли – эти вагоны – не ехали и не увозили... не спасали они.

Стояли горбатым хламом в бесконечных непротёртых очках, синие или зелёные, (где удавалось разобрать сквозь ожоги ржавчины).

И не было в этом ни музыки расставаний, ни святого праздника встреч.

Одна старость на колесах.

И тупиковые приговоры рельс.

Скучал уже старшина... булькал чрезмерным аппетитом, не обращая внимания на объедки, приютившиеся у него за спиной. Теперь он был уже только старший машины, на которую наезжал по размазанному суглинку сборный пункт. Или перевалочный... или просто ДВРЗ, как его именуют в Киеве.

Просто ДВРЗ, - дэвэрзэ, - хотя совсем и не вагоноремонтный, а рядом расположившийся плацдарм набора.

* * *

«Всё, хлопцы! Вылезай!»

К нам шли военные.

Всёхлопцывылезай, В-С-Ё-Х-Л-О-П-Ц-Ы-В-Ы-Л-Е-З-А-Й...

и..... мама, ты сердцем знаешь, как мне плохо, но ты не знаешь ужаса полей... где темень серых ватников, где кривда бродит без погон, а в погонах – неизбежность... и невменяемость – в белых халатах... и в колонну по четыре – обреченность...

где бесы хорохорят чуб, лопатами взметая сажу,
и где подручных вольный нрав сочтется правдою улыбки
сквозь ребра потерявших путь...

и..... мама, ты сердцем знаешь, что каждый порог здесь кажется последним, ты знаешь всё и летишь на крыльях военкоматских ветров, бьющихся за увезенными нами... и потому твое последнее стойло – забор, бетонный забор без колючей проволоки, через который легко перемахнуть, но сбежать некуда, потому что «радость на всех – одна».

.....ты не узнаешь ужаса полей, потому что увидишь лишь казарменный городок за забором, толпы детей в рванье, курящих и матерящих, испуганных своей безбрежной отданностью во власть команд...

.....ты не увидишь даже их, потому что всю строгость зрения истратишь на поиски одного, единственного... самого покинутого... самого бесприютного... только твоего... не здесь... и не там, нет... боже мой! где же он... где... что?... да отстань ты... он в одной курточке... что значит – все,... а мне... дело до всех!... ты никогда не любил ни меня ни своего сына.... ты – не отец!... боже мой, где же он?... где он?... где.... он... Миш... Миша... Ми-и-и-и-ша-а-а!.. да позови же... он же не слышит... ты же мужчина... позови... громче.....ещё... сыночек... я здесь... здесь я, иди сюда... почему ты расстегнутый ходишь, ты что... с ум..... кто тебе... курить?... что давно... что давно, я спрашиваю... ты что, с ума сошел? брось сейчас же... что ты улыбаешься... я сказала брось немедленно папиросу... какая разница... сигарету, брось немед..... что?... уже строиться, как... УЖЕ?

Ее демисезонные руки пытаются протиснуться в щели забора и не могут.

А отец?

Ему, как всегда, легче.

Ему запрещается плакать, а – только смотреть на то, на что нельзя насмотреться.

На уходящую спину.

Нет, это звали не меня.

Меня и зовут иначе, да и не подвергаюсь я той судорожной любви, которая есть нормальное отношение к единственному ребенку.

Я жил себе в эти безалаберные часы почти укромно, ещё не курящий, уже проверенный и подёрганный за член.

Никто нас, конечно, не дёргал, – сдались им наши недомерки!

Но в зопу (я имею в виду жадницу) заглянули.

Заглянули в последний раз, чтобы уже окончательно, – что я не педераст и ничего там чрезвычайного не видно. Не думаю, что их мог беспокоить возможный геморрой, потому что мне во второй год службы случилось повстречать грузина 150-ти кг, страдавшего чувствительно этой штукой.

Но и он шел в борозде.

Красная армия всех ширей.

Ей и геморройное лыко – в строку.

Я жил почти укромно, уже освидетельствованный к борозде, но ещё не ступивший в неё.

Тихонько так, под кустиком.

Они сказали ждать обеда.

Они – это офицеры, в звёздах которых я ещё путался, и сержанты, алевшие новенькими погонями с жёлтой гордостью лычек.

Основное «курило» происходило без меня, но с уже тихим поглядыванием косо на притаившегося врага.

Обилие людей делает их ещё глупее и подвергает самому среднему из имеющих в их множестве уровней. Так образуется толпа, так она становится бандой, так вырастает до армии, так совершает революцию, самое безумное после войны человеческое действие, даже более безумное, потому что война может еще дать призрачные временные завоевания, а революция – это просто кровавое забегание вперед, почти сразу же завершающееся откатом сумасшедшей пушки, откатом не только на уровень, которого без крови могла достигнуть эволюция, но, увы... на ещё более отсталые рубежи.

А в строю всё оказалось иначе.

Строй без особой разборчивости назначает товарищей.

Когда по команде выключились сигареты и нас нанизало на вертел шеренги, мы поняли, что надо пошутить друг другу, просто чтобы выжить. Уже смутны эти первые короткие перевалочные дружбы длиной в марш до солдатской столовой, шириной в проход между нарами.

Мы неумело отстукивали гражданскими каблуками первый армейский марш.

По свежему снегу стучалось негулко.

Да и строй был еще не черчёный, а рисованный... как если толпа угодила бы в случайный такт.

И хрумкалось, и хрумкалось, и вся прошлая беспечность умещалась теперь в пространстве междушагия...

лес-парад,

осел-фарт,

кайф-Подол,

раз-два...

вист-преф,

класный-вол...

раз-два...

раз-два...

Я еще не видел лиц, которые нас вели, я только понимал, что эти лица есть... там, с другой стороны затылков.

Нам мешали вещмешки.

Мне – мой портфель.

Я говорю – «нам», потому что понимаю, что жизнь тогда уже отменила любую мою разъединённость с миром.

Я говорю – «мне», потому что не могу смириться, даже теперь...

Не могу я отказаться от отдельности, встать в ряд не могу.

Сначала мы хрумкали тихой гражданской обувкой по свежему снежку, а потом – в столовой шумными ложками из шумных чашек, (так армия называет миски). Мы хрумкали наш первый строй и нашу первую баланду. Строй был нетяжек да и баланда была вполне сносной, но почти никто не успел доесть. Грохнуло отодвинутыми скамьями и очередная команда выстроила нас в товарищей по четыре. Оглядевшись, мы поняли, что дружим уже с другими. Эта сутолочность маршевых дружб была, конечно, особенностью перевалочной, потому что настоящая рота строится всегда одинаково, скрепляя связи как кирпичная кладка.

И еще была баня.

Я помню сизые тона.

Выбитые стекла раздевалки... мерзлота суетливых тел, выкрученность зрения, старавшегося не видеть того, чем мы равны.

...зачем ты так воспитываешь, жизнь?...

...чтобы сразу помнили, что виноваты?...

...чтобы смирение внедрить?... а ТЫ?

... ведь ТЫ не нас из рая изгонял!... хотя, конечно... разве замолить?!.....

терпеть... и стыд болтающихся членов, и жалкую лопаток синеву... судейские решили – быть по сему! бить по сему..... бить по всему, что боль испытывать способно...

.....зачем ты так воспитываешь, жизнь?

Затем!

За тем рискованным днём другие, другие... но... но эта первая сизость, первая виноватость душ...

Бессмысленность выкрикивания, сломанная рация... бесполезный SOS...

Нет у памяти ответа на вопрос, как этот день добрёл до вечера.

А вечером чрево казармы приняло весёлую от ужаса гурьбу.

“Внимание, рота! Ста-а-ановись!”

Какая ещё там рота... но мы построились в линию казарменного зала.

“Пр-р-риготовить вещмешки!” – для меня это значило расстегнуть портфель.

Капитан приближался.

Я к вечеру уже расчленил погоны на капитанские и лейтенантские.

Теперь ко мне приближались капитанские.

Он был усталый человек. Его возраст (как я потом научился понимать) был позором его погон. Или погоны позорили возраст. Нельзя быть таким старым капитаном. Такой старый капитан – это....

уже неудачник.

Не дело в армии просрочивать звезды.
Выпрыгивай, дотягивай, лижи и предавай, гневи небеса... или просто соверши подвиг, только вовремя получи очередную звезду. Бессрочные двадцать пять могут оказаться тесными, если не справишься с темпом набора на погоны.

Этот не справлялся.

Его ждала позорная пенсия в бестолковой отставке.

А зачем тогда?!

За чем он гонялся по гарнизонам и таежным офицерским городкам?

А может, этот не гонялся?

Доброе обрюзглое лицо.

Глаза, слезящиеся от призывного пота.

И гнетущая процедура проверки на водку.

“Есть?”

“Нет!”

Тогда со всего маху вещмешком об пол.

А потом и моим портфелем, моим «Пикантным» сыром и куском кооперативного сервилата (непозволительной по бюджету роскошью «на дорожку»).

К концу строя казарма густо пахла спиртным.

Я собирал с пола вылетевшую электробритву и грустно ощущал на лице слюну его стандартного вопроса.

Он, должно быть, сильно уставал на перевалочной работе.

Отбой в таком скоплении оказался тяжёлой физической задачей.

По команде гурьба, не имевшая назначенных мест, кинулась на завоевание нар.

Это и была типично моя ситуация.

Здесь можно было с наслаждением не спешить, посторониться и уступить стадную тропу ребячьему галопу.

Это была краткая возможность пережить обособление, вдохнуть необходимый воздух несходства.

“Почему не ложишься? – маленькое и красивое смуглое лицо, – что, спать не хочешь?”

– А разве тут можно?

Он улыбнулся загадочной Азией и ушел.

Милый мальчик-сержант.

Узбек, что ли?.....

Одно из лиц, которые полюбила моя память.

Со смешанными чувствами гордости и горечи я подложил под голову твердый, как камень, портфель и растянулся на полу у двери. Гордости – оттого, что снова не становился в ряд... горечи – оттого, что серокишащая масса, тихим шевелением искавшая покоя на двухэтажном ложе, не испытывала никакого внимания к моим несогласиям. Озабоченность каждого найти свой сон была жизнью, а мое «напольное» выступление – натужной клоунадой.

Я думаю, они были «правей».

Простота и основательность их жизненных потребностей выглядела глубоким прудом, на котором я прыгал, как несерьезный рыбец.

Можно, конечно, назвать природным артистизмом, только будет ли это честно?

Но мне, и правда, было так лучше и спокойней.

И даже слышать не хотелось глухого шуршания ватников.
Они скомандовали ночь, и было, вдруг, вольно среди уже сомкнувшейся несвободы.
Кто-то ходил мимо, проверяя неустойчивое спокойствие ворочающихся полусолдат.
В окна дышал печальный пар материнских выдохов.
Их души еще стояли за забором.

А следующий день растаял.
Подъем шумно перешел в слякотный марш на завтрак.
А потом насморочный дождь вывел нас на заплаканный плац.
На этом плацу и произошла процедура освящения и продажи в патриотическое рабство.
Митинг открыл некто с большими звездами. Невзирая на морось, он поведал о праздничности и радостно посочувствовал нам в намерении отдать долг.
Мои наблюдения не давали сходной картины.
Вокруг меня хлопали на ветру чувства утомленного страха и протеста против празднований под водой.
Потом вошла нанятая мама.
Полная женщина официально украинского вида, специфического обмягченного «г», в непростительном плаще и косынке, рассказала нам из-под зонтика, что все мы ее сыновья, что нас призывает Родина, и поэтому она, мать, дрожа душой, отдает нас этому требовательному призыву, наказывая добросовестно исполнить и не навлечь на её промокшие седины.
Она уверяла, что вся страна смотрит на нас.
Страна действительно смотрела.
Раненой зеленью из-за забора.
Там тоже были матери, но они молчали.
Думаю, они не слышали, что говорилось из-под зонтика.
Во всяком случае, не слушали.
Они искали глазами в громадной серой толпе.
Их стало даже больше, чем было вчера.
Возникли за забором и молодые лица.
Кто-то из нас покидал невест.
И, наверно, жен... как я.

Митинг завершился кашляньем микрофона.
Зонтик сошел вместе с нанятой мамой.
Появились военные.
И стали нас продавать.

Я не рискую впасть в усугубление, так действительно было.
Они назывались «покупателями»: танкисты из-под Киева, моряки из Приморского края, ракетчики из Казахстана...
Они по очереди выходили на трибуну и зачитывали в мегафон.
Мы – к тому времени уже освободившие плац – слушали из-под навеса и выходили. Временами они выкликали всего несколько фамилий, и на сером зеркале плаца образовывалась плотная пригнувшаяся кучка в нелепом разнотряпье. Нахохлившиеся жались плотней в ожидании увода. Потом появлялся ответственный офицер команды со списком под зонтиком, перекликал кучку поименно и уводил от последней глазной материнской опеки.

Я пробыл там до вечера, глядя то по ту, то по эту сторону клетки.
А к вечеру подумал, что, может быть, вообще нет ни той, ни этой стороны, что забор – всего-навсего внутреннее разграждение.
Ведь свободы изменить судьбу не было ни у нас, ни у наших матерей.
Мальчики вокруг забалтывали свое беспокойное ожидание анекдотами, сценками из прошлой, ещё вчерашней, жизни, обменом мужскими гордостями.
Белокурый «интеллигентный мальчик» Витя рассказывал и всё норовил показать мне какой-то прием против ножа.
На мне.

С сумерками стало реже капать.
Небо тоже дисциплинировалось.
И меня, наконец, вызвали.
Теперь уже на меня глядели из под навеса.
Много мокрых столпилось... а всё еще продолжал выкрикивать мегафон.
Кончилось тем, что половина народа оказалась перетянутой по ниточке списка в середину плаца. А потом откуда-то с периферии образовавшегося стада донеслось, что – Дальний Восток.
Тут сразу стало понятно, что далеко, но по сути, ничего не говорило.
Дальний... ближний.....из под воды бы уйти, а там.....
Ну, дальний, так дальний!

Почему-то не запомнилась вторая ночь на ДВРЗ.
Странно, но я совершенно не помню ни отбоя, ни сна напольного, хотя он мог быть только напольным и никаким другим.
Кажется, перед тем, как войти в казарму, я задрал голову и увидел небо, и подумал, что оно уже зимнее.
Больше ничего не успел.
Капнуло свреху и меня пнули в зазевавшуюся спину.

А утро пнуло мне в спину с просыпа.
Без соображения прожевал я и проглотил свою третью или четвертую кашу.
Но на ДВРЗ нас уже не повели. Некая незнакомая дорога впрягла нас, дружащих по четыре, длинным ротным цугом в свой брусчатый хомут. Я помню корявый булыжник, не очень-то ласкавший ноги, помню, что он похож (я тогда так подумал) на мои зубы.
Совершенно загородный пейзаж помню... помню женщин, шедших сбоку колонны.
Как они находили? Как подкарауливали?... Не понять мне.
Но шли... шли и не плакали, потому что – не на войну... и не улыбались, потому что – в солдаты.
Просто провожали, были до конца, присутствовали столько минут, сколько допускалось распорядком.
Всегда немножечко идиотски выглядит....
Уже всё понятно, уже кончено и решено... а всё стоят, всё идут.
И на платформе стоят-идут... и у причала стоят-идут... и у подъезда, и у холмика с табличкой.
Нет, у холмика уже не идут, а только стоят.

Мы шли вразговорную, а они – молча.

Мы не знали больше наших матерей.
Мы уже начали путь на Дальний Восток.

Незамеченным образом вышли к стонущему эшелону.
Женщины как-то сами собой исчезли (может, офицеры, опасаясь истерики, гуманно не допустили их до вагонных слёз?)
Команда «Па-а-а вагонам!»..... и поехали.
Расселили нас тоже вполне гуманно – по десяти человек в плацкартном отсеке (используя грузовые «третьи» полки и промежуток на полу)...
Наш поезд был условным батальоном,
наш вагон – условной ротой,
наш отсек – условным отделением.
Я – условным командиром отделения, опрометчиво назначенный сержантом за лысость внушавшую... и за умение выпускать боевые листки. Я и выпускал тихонько, раз в два дня, и так случилось, что..... восходы и закаты из одного окошка в другое..... ведь целых семь суток...
А теперь не помнится ни оглохшая от гитарного скрежета тоска, ни те, кто спал рядом...

...и вообще, мне, наверно, не стоит писать об армии.
Временами, вместо удушливых накоплений лютой горечи просто чернеет глубокий провал, а провал... он и есть провал – глубина, зашторенная плавающим паром. Его разрывы лишь намекают, но не извлекают на поверхность... да если и вообразить извлечённое на поверхность, так что с ним делать, с извлечённым-то?
Эффект объёмности катастрофически утрачивается при поднесении к глазам раскрашенной картонки...
.....плавающий пар, скрывающий прошлое, есть само прошлое, неузнаваемое в многоточиях выпадений.
Настолько неузнаваемое, что... Бог ты мой!... как и не с тобой было.
А заглянешь попристальнее – ... действительно..... не с тобой.

* * *

*Соседки сбегались, на ходу вытирая о фартуки мыльные локти.
Кто-то бежал чуть позади неё, готовый подхватить покинувшие чувства. Но она и так была уже без чувств, а кол, разорвавший рот, вошедший в горло и застрявший остриём в диафрагме – это ж разве чувства? Это кол.
Москва тех времен была не только грязная, но уже и пыльная. Соведения пылила тараканьими усами мавзолейного плейбоя. И в этой пыли, на этой грязи устаревших рельс лежал мальчик, удобно раскинувшись всеми своими неперерезанными частями. Трамвай стоял тихо и «берлиозно» в десяти метрах от места наезда. Никаких турникетов, никто не разлил масло, и мальчик кричал не так громко, как того требовала отрезанная левая нога, но.... спины мужчин, глушившие его рёв сочувственным любопытством,*

несмотря на очень заинтересованную плотность не смогли скрыть от подбегавшей знакомого живого голоса, так что когда она начала рвать когтями podatливую стену неловких пиджаков, она уже знала, что успеет его застать. До первых истерических слез облегчения ей оставалось совсем немного... полтора метра парусиновых и габардиновых спин.

* * *

Присядьте, пожалуйста, на плацкартное место.
Ведь мы едем... нам надо ехать, нельзя не ехать...
Бедный вагон!
Его раздирает снаружи скорость, а изнутри последняя карикатурная полусвобода напиханных мальчиков.
В каждом отсеке – своя гитара, и эта всеобщая популярная песня крошится на корки антоновского “а за нами где-то середина лета...”, “звёздочка моя ясная”, и как-то “песни у людей разные”.
Ближе к моему письму нудит битловское “лэт ит би...”.
Пишу письмо удаляющейся любимой, еще спокойно наблюдаю пропасть, в которую падает звенящей цепью наш эшелон.
Здесь ещё можно ночью бестревожно спать, а днём принужденно общаться с сокамерниками.
Один из моих отделенцев – здоровенный мужик двадцати семи лет по военному билету и всех сорока снаружи. Он смеётся и плачет, и материт грязное окно.
Он увидивал, «в погребке ховался»... но его всё равно нашли...
Он увидивал с восемнадцати до двадцати шести... но его нашли и забрали в самый последний момент... забрали от семьи, на которую надо бы неразогбенно пахать, а тут – едь куда-то, трать силы и время, пока там надрывается твоя баба с детьми. Он говорит на смешном полуязыке русско-украинского выражения. В минуты нашего самого чистого смеха и ему становится смешно от своих суржиковых удач.
Полоснёт поворот по стеклу лезвием луча, и он, сощурившись:
.....*Та яты ж твою в сонце мать! Хіба ж це так можно, га?*.....
А мальчик с гитарой всё нудит: ...*лэт ит би...* да ...*лет ит би* – ожесточённо допевая родимую подворотню.
Так и едем: снаружи – клуб кинопутешественников,
изнутри – в мире животных.
Страну волокут мимо нас в обратную сторону.

На третий день проволокли Урал. Он был молочно-серый и странно высокий. По географии мы учили его низким. А степи Казахстана дошли до нас только тогда, когда мы поняли, что пейзаж не меняется уже второй день. Поезд несло через блюдо, которое явно отскоблили для мироздания, но потом забыли или передумали строить.
За Новосибирском, (а может, уже и раньше, – я плох в географии) началась Сибирь. И кончилась, засорённая моими устаревшими боевыми листками.

Их выкидывали в окно, скомкав вскоре после повешения.
Да, мы видели и Байкал с высоты прибайкальских сопок и уже совершенно не понимали, куда... ну куда ещё можно дальше ехать, но всё ехали.
Забайкалье было бурое, со змеевидной рекой, оледенелой между сопок.
Она сопровождала нас подлёдным молчанием и отстала где-то на отроге.
А может, ей просто надоело слушать нудливое “лэт ит би”, и она отвернула от обмороженного состава.
Верхушки сопок – рыжая глина, небеса – чудовищная лазурь.
Мы не знали, где мы.

В последнюю (седьмую) ночь меня обмазали сапожным кремом.
Я не проснулся.
Видимо, тело слишком искало забвения.
А потом, когда открыл глаза от тёплого размаза на щеках...
Кажется, я бесился от злости.
Отделенцы мои добродушно хохотали.
Я орал, что все они – дерьмо собачье, но видимо им это было и так известно, потому что ни один не...
Может быть, просто они раньше меня сообразили, что все мы теперь одно и то же дерьмо.
Я не сохранил в душе ни чувства ненависти, ни чувства позора.
Не успел, потому что в ненормальном ощущении стоящего поезда объявили ссыпку. Мой портфель вместе с державшей его рукой скрючило чёрным рассветом. Хабаровск скомандовал: “Бего-о-ом, ма-а-ар-рш!”
И всё побежало.
И я побежал.
И добежал вместе со всеми и со взмыленными офицерами до бурчащих машин, и стал лезть в недостижимый кузов, потому что Хабаровск скомандовал лезть.
И не понимал, зачем надо было бежать, когда и шагом можно бы, и почему не доставить лестницу к этому ненормальному кузову, чтоб не надо было рваться всем вместе... и тем, которые могут подтянуться, и тем, которые – нет...

* * *

Я еще не имел убеждения тогда, что в армии все должны мочь.
Просто чтобы успеть вскочить в удирающую с передовой машину, чтобы суметь влезть в окно третьего этажа, не сорвавшись вниз с горящего второго.
Просто чтобы подтянуться до амбразуры, на которую запланировано лечь.
Ведь через сердце и лёгкие пули летят уже медленнее, препинаемые вязкостью тканей и осколками рёбер, а значит послужил Родине, значит они прошли дальше, обходя пулемёт, подавившийся твоим вздрагивающим телом...
...дальше... дальше... в отворившиеся новые горизонты смерти, где их тела уже записаны в самоотверженную очередь на патриотическое вздрагивание.

Я влез через колесо.

Слава Богу, имеются у машины колёса, есть куда ногу вставить в дурацкий промежуток от земли до кузова.

...и кузов, и кузов... и тихая сквозь ватник боль в ребре, которым меня притиснули к борту... но не поменялся бы на безвыходную середину... пусть хоть с щемящей стороны – один!...

И ревом тронули прочь от родного эшелона.
Какой-то гранитный дядька не обернул головы на наш проезд.
Озабоченный враждой к вокзалу, он непрерывно угрожал ему поднятой рукой и лишь покосился через квадратную скулость.

Окна в городе уже завтракали и суетливо мигали полусонными уходами на работу, чертыхающимися возвращениями за неуверенно выключенным газом или забытым кошельком.
От этой послушнической святости веяло таким невозвратным теплом...

*...свободным послерабочим вечером... распаренным кинозалом... приглушённой бессмыслицей телевизора...
.....сном веяло и солёным предсоньем повседневной шеи..... нет, не сама любовь... о ней “и вспоминать не смею”, но...
.....но вдавленность в подушку, тяжелой вольностью грудей... и... губы, и колено, придавившее так неудобно, и... видишь?!... всё равно, любовь...*

А вот мы уже и без тёплых окошек.
Сумели-таки догнать ночь.
Здесь, куда нас завезли ревущие грузовики, дома стояли жёсткой чернотой... многоэтажные красивые дома, выстроенные архитектурными кондитерами для сталинских собак. Толстые красивые дома, казавшиеся только наружно разбитыми на этажи нарисованными окнами, а в действительности, возможно, бывшие огромным помещением во весь объём, где просто жил один очень большой человек, и ему не время было ещё вставать.

С-горы-стремниной-улицы-и-в-новый-поворот..... прощаясь со спящим циклопом.
Аллея с выбеленными бровями, военный запах религиозно поддерживаемого порядка.
Это я теперь знаю, а тогда был просто незнакомый запах безразличной к присутствию человека чистоты. Он обещал что-то уже знакомое, и оно и случилось, наехало на грузовик наш отвором красных звезд.
Как хорошо смазаны ворота.
Есть кому позаботиться о бесшумности.
Ребро остывало, разогретое болью.
Я спрыгнул с кузова последним, чтобы увидеть уже закрывшиеся ворота.

А внутри – шум и огни.
Дивизионный городок.

Здесь начиналась огромная учебная дивизия, разбрызганная частями по близким и далеким окрестностям Хабаровска, командованная полковником в должности комдива с прекрасной русской фамилией Бояринов. Не зналось и не думалось, куда ещё... но скоро стало ясно, что нам суждено быть нещадно распылёнными армейским аэрозолем. Завязавшиеся товарищества были вновь обречены на кратковременность. Это был всего лишь ещё один перевалочный пункт.

* * *

Мы долго терпели в сидячих ордах. Пустые казармы, куда нас свалили, молча щупали облезлыми стенами наше тряпье, окончательно изрезанное на гражданский последок. Мы начали делать это ещё в эшелоне (Я говорю – «мы», потому что примериваюсь встать в ряд. Хотя бы теперь, задним далёким числом. А на самом деле, не резал я брюки в бахрому. Я вообще был не в брюках, а в старых ватных штанах, которые когда-то обманули судьбу и не пошли с дедом на расстрел).

Мы терпели в сидячих ордах, а мимо шагали наглаженные сержанты, обутые в лягг. Их от нас отделяла еще, как будто бы прутьями, клетка неопределённости. Как терпеливые хищники, они не бросались раньше времени на стадо. Они ещё не знали точно, кому кого терзать. Пока что они просто стерегли нас охотничьим порядком. Играли рты гастрономическим предчувствием, а грохот неуставных подков нагуливал аппетит.

*...и думал я о ласках и покое...
сидел среди невымытых ног,
немытыми своими выпинаясь,
и думал о покое и о ласках...
об узости бойниц и широте
утраченного мною горизонта...
о горизонте и о широте...
об узости бойниц...*

Какое там – о ласках!
Всё это от сочинительства.
Врём, чтобы разукрасить повесть.
Только и было, что невымытых ног.
И прямо от этого густого запаха начиналась мысль: “что ещё будет с нами?”
Газели пасутся беспокойно в виду у львов.
Тоже головками дёргают... всё гадают, что ещё с ними должно произойти.
И львы не спешат.

В какой-то длинной очереди я стоял как раз за одним из своих отделенцев вагонных. Мы уже к тому времени изрядно смешались, так что подобная встреча была равносильна послевоенной радости. Помню его фамилию: Криворот.

И он вошёл первый и попал прямо к танковому майору.
Они принимали за двумя столами: справа – танковый майор,
прямо – тонкий белоусый старлей (теперь автоматически – старлей, а тогда – лейтенант старший).
Криворот вошёл первый, потому что стоял в очереди передо мной.
Вошёл первый и угодил в танки.
Если б знать, за кем занять очередь, где наклониться поправить ботинок, чтобы пропустить и попасть.
Вернее, не попасть.
Чтоб в танки не попасть.
Я вошел сразу вслед и был вежливо принят молодым белоусым.
Он отслушал мои характеристики по заданным вопросам: об образовании (неок. высш.), о болезнях мучающих (пояснич. крестц. радик.), переглянулся с другим, чернявым, на одну звезду младше, и кивком обоюдности они решили мою судьбу.
Эмблемы в их сиреневых петлицах.....
.....да даже сами сиреневые петлицы цвета спокойной благожелательности ничем не напоминали алую петличную свирепость танкиста, а уж эмблемы и совсем настраивали на добрый домашний лад. Змея, обвинившая вазочку мороженого, – тёплый привет из бабушкина шкафчика.
Криворот встретил меня снаружи этого распределителя.
Он матюгал прихоти очередей и танковое железо.
Проклятия были, правда, довольно съюморённые.
Обсуждалось, как-то оно будет... какать с башни.
Я так и не узнал, чего стоит танковое железо и каково оно – какать с башни.
Зато сразу заметил неодобрение в глазах ребят, уже запиханных в танки.
Им явно не улыбнулось это моё маленькое медсанбатное «везение».

Так я в первый раз услышал и повторил слова: *медики, медсанбат, отдельный учебный медико-санитарный батальон.*
Но квадратность сержантов была совсем не медицинская.
Они сгребли нас, пятерых медназначенцев, в угол и уже не пускали в свободный путь даже по пустым казармам.
Возник лейтенант.
Огромное, почти круглое тело несостоявшегося штангиста и такое же круглое лицо.
Щеки заслоняют уши.
Он был молоденький – я почувствовал это по его неуверенному лейтенантству.
Сержанты смотрели куда волчей.
– Лейтенант Василько!
И добрый неспешный сказ о медицинской службе, о белых халатах, которые нас ждут, о речке, текущей вблизи, где нам – рыбу удить. Мы счастливо переглянулись – пятеро обреченных на неизвестность, на веру в любой посул. Мы переглянулись счастливо не потому, что верили, а потому что подвергали эту хитроватую, с плохо скрытой жесточинкой, басню простому пересчёту на проценты удачи. Конечно, не быть нам в белых халатах, но сами халаты рядом, это уже что-то не окончательно бесчеловечное. Понятно, – не греться нам в медпункте, но сама медицинская служба... всё-таки не танки. И совсем уже не принимали сказочку о реке и рыбе удимой, но само упоминание

вызывало внутри спазм тишины, какую-то журчащую надежду, похрустывавшую листьями у кромки лесной воды.

Маляр-рассвет уже тронул окна серо-голубым, сержанты (их было двое, надзиравших персонально за нами пятью)... сержанты закуняли, ребята скрючились под стенкой, вместились друг в друга и застыли в позе произошедшего сна, а мне было двадцать три, и я отличался от ребят... и от сержантов.

Чуть-чуть... но, всё-таки, отличался.

Ровно настолько отличался, чтобы увидеть и трагическую окаменелость сиюминутного терпения новобранцев, и оmozолевшую драму уже почти двадцатилетних «без-пяти-минут-демпелей» (тоже словечко из будущего, а тогда я его еще не имел).

Я отвернулся в поглубевшее окно, и выступили на глаза слёзы.

От всего... от всего...

И самым страшным испугало само окно, тихо извлекавшее из проявителя утра жизнь, которая, оказывается, была и тут, где я никогда не был, и где поэтому не могло быть ничего по-настоящему... только в пустом, не заслуживающем доверия предположении...

И оно было...

Но оно было...

здесь...

было и здесь... живое и жуткое.

Жизнь, такая же серьёзная... такая же всерьёз, как и та единственная, которую я знал до сих пор и о которой думал, что она единственная.

Голубые воды слегка покачивали изображение, как лаборант – отпечаток пинцетом в промывочной ванне, и отчётливо уже был виден штаб дивизии... сквер возле него, красные стены и башенки дивизионного городка и, наконец, самое... среди всего пугающего этой картины: какой-то город за стенами и башенками... какой-то город, определённо советский, но до рези в глазах не мой, чужой, отвратительно неузнаваемый, где кто-то имел наглость жить, где всё было мерзко и серо... и должно... обязано было так быть, потому что в нем не было мамы.

Нет... конечно не мне было тосковать по маме.

Они... они, скрючившиеся и вместившиеся друг в друга, застывшие в позе произошедшего терпения... это они должны были.

И тосковали, не зная, сквозь запекающую корку ободранности.

Я тосковал по жене, по любимой моей.

Тогда это было одно и то же.

Не мог я тосковать по матери... слишком сознательно желала она мне этого ада... слишком сознательно...

А было мне всего двадцать три, и я не знал, что любовь оплачивается, иногда, мужеством отречения.

...подставить попку своего грудного под укол пропермила, уткнуть в грудь его непонимающую головку и неподозревающие глаза и ждать, когда он зазвенит пружиной боли, и стискивать его конвульсии и ор, чтобы не повредить игле... Всё несложно... надо только самому попробовать... чтобы сделать веселое открытие, что любовь, чаще всего, – это способствовать жизни в насилии над любимым.

Не уйти в смежную комнату несовладания, а остаться да ещё и держать его, чтобы облегчить жизни её насильническую педагогику.

Останься и держи, и верь, что он, глядящий на тебя с удивлением и болью из неудобства своей выломанности... что он потом поймёт и когда-нибудь простит.

Мне было двадцать три и предстояло еще довольно долго жить, прежде чем спуститься до понимания истинной невыморочной любви, которая не заботится выглядеть любовью, которую волнует не благодарность, а *благо дать*.

Мне было двадцать три, и я был наводнён собственными слезами.
От всего.

А, вообще-то, не было этого, и окна не поглубели, потому что нас увезли ещё втёмную.

Но могло ведь быть?

А могло и не быть.

Или быть не со мной.

Вообще, всё, что было со мной – результат чего-нибудь постороннего, что было не со мной и сбудется потом

тоже с кем-нибудь другим.

* * *

Не со мной сбудется когда-то полоумная осень...

Не со мной она будет играть маразматически в скачущие каштанчики, которые (как мне кажется теперь) не могут забавлять, когда срок листопада подписан.

Не со мной уже было и многое прошлое, навеки отчуждённое временем, превратившееся в статьи устаревшей энциклопедии. Читаешь – понятно, а вспомнишь – нет... не с тобой.

Во всяком случае, не со мной случились те рельсы, по которым прокатился трамвай. И черноволосая молодая еврейка, рвавшая когтями сочувственную блокаду пиджаков, не была моей матерью. Она не была ничьей матерью, хотя имела двоих детей (один из них, как раз, удобно отдыхал на рельсах). Она не была матерью, потому что была революционеркой, бациллоносителем пролетарской чумы, выжигающей материнство, но, к сожалению, не подтверждающей это соответствующим бесплодием. Она не была ничьей матерью, хотя родила двух детей. Родила так же безответственно, как до этого влюбила в себя двух молодых людей... двух мальчиков: Лазаря и Шуру. Шуру и Лазаря, музыканта и художника... лирика и лирика... двух мотыльков, припудренных романтикой. Писавших ей стихи, ласкавших одну любовь на двоих, погибавших от её простуд, сыпавших скорбные цветы её воображаемой безвременной кончине. Совсем не замечавших её тяжёлого мужеподобия и

таявших в нём, как мороженое в стаканчике. Они любили друг друга, эти мальчики, и они любили её, и любили друг друга ещё нежнее за эту объединяющую их любовь.

Любила и она. Одного из них. Лазаря. Если вообще умела... знала, как это делается. Думаю, скорее, сочувствовала, потому что он чего-то хотел от революции. Не знал – чего, а хотел. И порицал своего нежного друга за слишком ветренное витание, за неуместные европейские сны, за вечную притчу в глазах. Шура витал. А Лазарь хотел. Он не знал точно чего... но страстно хотел. Верил в преобразование. И оно пришло. Подъехало тихой телегой, на которой лежал его труп в чистой рубашке. И Шура стоял и смотрел, как преобразился его друг, и долго искал глазами вход и выход – отверстие, в которое вышла жизнь и вошла смерть. И не нашёл. Рубашка была совершенно чистая, возможно, надетая уже на покойника, чтобы придать очищающей красоты усопшему продотрядчику, сбитому влёт каким-нибудь мужиком, метким от голода и чувства протеста.

И на опустевшем любовном поле Амалия Левит вышла замуж за Шуру Броуна, за нелюбимого, но живого из двух мальчиков, которых до этого безответственно влюбила. И родила двух детей. Так же безответственно, как вышла до этого замуж. Одно только делала это женщина ответственно – гибли за революцию. Но и гибель ее, последовавшая через много лет в глухом рабочем поселке, на который она добровольно обрекла себя и двух своих... и гибель её осталась безответственной, напрасной, как и всё, погибшее в безнадежной столетней копуляции с демоном-уродом, порождённым бездуховностью бородатого Маркса, от его богозабвенной связи с лобной костью немецкого критического разума.

Но если ты умеешь рожать детей, если бацилла революции не дала тебе спасительной утробной непригодности... так будь добра, прими и муки... и полтора метра запиджаченных спин, и солнечную улицу, и обматерённый мелом угол дома, и косо висящий в глазах проём двери, и лёгкое дуновение промчавшейся ватаги, несущей в разинутом от коллективного восторга рту важный лозунг: “Тётъ Маля, тётъ Маля... там вашего Лёньку трамваем перерезало!”

* * *

Сам не понимаю, почему запомнилось, что нас увезли втёмную?

Ведь это необходимо должно означать, что я провел целый день в дивизионном городке, потому что прибыли мы в Хабаровск под утро.

Но дня я совершенно не помню.

Более того, я отчётливо помню, что его не было.

Помню приезд в темноте, помню жёлтые от света казармы, помню что было нас много, помню, что – очередь, и танковый майор, и что я к нему не попал...

а потом двое сержантов и круглый лейтенант Василько, обещавший рыбную ловлю в белых халатах, а потом... – и всё это ночью... и ночной отъезд...

И ночной приезд.

Как ехали, о том знает крытый кузов.

Только выдергиванье бетонки из-под задних колес.

Как будто мы неслись в разматывающемся клубке, брезентовое вещество которого случайно зацепилось за Хабаровск и теперь ложилось через ночь полосой отставания.

Мы не понимали, что означают повороты и который из них – наш, но через час полоса бетонки перестала отставать.

Иссякла инерция метнувшей нас руки, да и сам клубок завершил разматывание.

Мы высыпались в ночной батальон.

* * *

Дом – машина для жилья.

Так сказал Ле Корбюзье, великий энтузиаст бесчеловечного мира. Сегодня я пытаюсь оживить щупальце ненависти и лютый коготь... пытаюсь, но не могу, а начатое командует продолжать...

Я должен, вынужден обмануть собственное равнодушие и найти способ продолжить.

«Дом – машина для жилья», сказал Ле Корбюзье и разобрал человеческую жизнь на умывание, дефекацию, прием пищи, копуляцию и восстановление сном, хранение шкур...

Детская – признание неизбежности полового акта, своеобразная мотивация половой жизни, как унитаза – обоснование экскрементов. Дом – машина для жилья!

Армия – машина для жития, хоть и не назовешь нас великомучениками, потому что великие муки – это всегда одному, а в патриотический застенек попадают все.

Самые великие муки, разделенные на количество мучимых, теряют в масштабе.

Тем более, что армейские муки не самые великие.

Обыкновенная машина.

И не надо её демонизировать.

Сработанная по-русски, поэтому иногда вылетают зубцы, но обыкновенная машина... механизм.

Агрегат для выдавливания солдат, пельменница большая.

И можно разобрать её на части, не впадая в концептуальную инфернальщину Ле Корбюзье.

ПОДЪЁМ

«Пусть раненый олень ревет, а уцелевший скачет!
Где – спят, а где – ночной обход,
Кому что рок назначит...»

Нам рок назначил рёв раненого оленя.

А может и не оленя, но что-то раненое было в рёве, разорвавшем притаившуюся немоту первой казарменной ночи курсанта отдельного учебного медико-санитарного батальона.

Это не был голос человека, даже самого большого и грубого.

Это не мог быть голос человека, потому что они орали все вместе.

Пятнадцать сержантов, – пять замкомвзводов и десять командиров отделений, – стоя в проходе двухэтажных нар, изрыгнули общий зов обиженной солдатской души: “Р-р-р-рота, подъём!!!!!!”.

И мы посыпались с коек.

Виноградины – с перезрелой и встряхнутой лозы.

Было противоестественно это шуршащее шевеление, сменившее каменный покой прошлой секунды, этот разоблачительный свет, плеснувший в закисшие глаза темноты.

А единая глотка сержантской ярости треснула по швам старшинствà на пятнадцать матерящих ртов.

Им не надо было нас научить, им лишние были и те сорок пять секунд, которые устав щедро выделил на одевание по подъему, их не интересовало фактическое качество нашей заправки...

...да, Господи!... разве ж я виню!

Мне только жаль нас всех, происходящих науку насилия, чтобы потом продолжить её уроками новой лютости, праздниками безбожного сквита... но не с теми, прошлыми, которые нас насильовали, а со следующими невинными. Нас рвали за незатянутые ремни, за торчащие беспомощные портянки... нам отрывали неуспевшие застегнуться пуговицы и, плюя в лицо слюной команды, посылали в отбой.

И мы ломились в отбой, наступая друг на друга, обрывая на ходу форму, так и не доведенную до полного строевого ума.

Главное – не оказаться последним.

Тогда двойная ярость – сержанта со стороны шпицрутена и взвода со стороны исполосованной спины.

Наказание одного становилось карой всех.

И мы боролись друг с другом на этом коротком крестном пути, стремились подставить другого под несчастливую долю последнего.

А всем всё равно не втиснуться в узкий проход.

Скрипели, елозя по полу, терзаемые кровати, но не могли вместить в проход всю страстность, всю отчаянную решимость не быть последним.

Кто-то обречен быть последним, и он им был, и тщетно рвал с себя проклятие защитного цвета, которое армия коротко именуется Х/Б.

Нет, это был не я.

Оказалось – есть еще менее приспособленные.

Они-то и становились общей ненавистью взвода – жертвы хищников и парии стада.

Ревел подъём зарезанным оленем, мы падали на койки, а хищник рыскал наклонённой головой между этажами нар, выискивая хитреца, кинувшегося под одеяло не раздевшись... и горе – хитрецу!

Страдания честной беспомощности выделяли у сержантов слюну здорового аппетита, но попытка обмана концентрировала эту слюну до кислоты и обжигала рот.

Тогда они бесновались.

Таскали за ворот.

Устраивали индивидуальный отбой-подъём на виду у парализованного ужасом взвода.

Изредка били.

Били только самые цельные натуры, внутренне не подчинившиеся ничему, готовые даже с дисбатом заспорить о праве на сладкую месть.

...и он ревел зарезанным оленем, и мы каменели в секундах проверки перед очередным катапультированием по команде: “Подъём, полная форма, приготовиться к построению!”

Но время приходило на бесполезную выручку, и палачам надо было прервать процедуру стискивания мошонки в тепле казармы, чтобы продолжить её на морозе.

Там... за стеной..... там был мороз, там ожидала зарядка...

Там надо было бежать.

ЗАРЯДКА

“Давай, давай, сынок! Служба такая!”

Румяный мальчик девятнадцати лет грубо толкал меня в спину.

И я пробовал бежать, хотя и понимал, сколь несхоже с бегом то, что я делаю.

Первые сто пятьдесят метров от казармы был еще бег, а дальше взвод раскалывало, как льдину, на бегущих и шатающихся. Кто-то, более нервный, падая, плакал... кто-то продолжал перебирать заплетающимися ногами и стиснуто грыз головешку мата во рту...

Короткое влаиванье, и мы переходили на гусиный шаг (это – на корточках).

Сержанты становились жирафами и поправляли нас ногами.

Я мучился своей спиной и абсолютной слабостью.

Не думалось о том, что “служба такая”.

Просто было больно.

Мучительно.

Даже оскорбленность несильными, но и лишенными сострадания пинками не угадывалась под немигающим небом физподготовки.

Нас догоняли до казармы весёлым рычанием, и только в умывальне удавалось отдышаться. На поиски себя и уходило всё (5 минут), отведённое для утреннего туалета.

Долго времени проползло, прежде чем я и подобные мне «дохлики» стали успевать почистить зубы.

Завтрак наступал на скомканное плескание.

ЗАВТРАК

“Р-р-рота, выходи строиться на завтрак!”

И мы выходили, вернее выбегали строиться.

На лестнице нашей – не мешкай!

Иначе – толчок в спину, обвис на перилах, а при возмущенном повороте головы...ну, тут... в зависимости от его настроения: либо улыбка приветливой беспощадности, либо остервенелый мат, но всегда ещё один толчок, чтобы всё-таки упалось.

И мы выходили... выбегали строиться... а за нами выходили сержанты, толкавшие нас с лестниц.

У них это именовалось – “Выносить на пинках”.

«Колонна по четыре» ждала нас на снегу или обледенелом асфальте каблуковой разметкой многих поколений, строившихся до нас.

Ну, что вам сказать!

Фонарная ночь вокруг, которая по часам – уже утро (7.30), х/б, хлопающие на ветру, а внутри х/б мы в одинаковой дальневосточной стойке – горбатые под ветром спины и руки, притиснутые к бокам, завернувшиеся внутрь стиснутыми кулаками.

Шинели командование постановило беречь для строевых смотров, да и долго это, всякий раз всей роте шинели выдавать.

Вот мы и стояли, скрюченные ласковым Дальним, и в этом мы были равны с сержантами.

Идти-то нам было по одной дороге, и столовая ожидала в одинаковом количестве шагов.

Что нас, что сержантов.

Дымила кухня трубным паром.

В нашем тихом маленьком батальончике всё было, к счастью, рядом.

“Внимание рота... са-ис-с-сь!”

И садилась рота, хотя отшлифованная до неузнаваемости команда выплевывалась скорее, как одно сплошное *-вниротауиссссь-*.

“Бесс шума приступили!”

И мы приступали бесс.....

.....руки рванулись к тарелке с маслом, его была одна общая плитка.

И её не стало в алюминиевом стуке, и никто не смотрел в глаза.

Только переглянулись, покраснев до глазных яблок, те, которые остались без масла.

Я видел, как это произошло, как самый маленький успел выбросить руку дважды и подгрёб, но противоположная ложка скрежетнула зло и отняла у маленького.

На другом конце противоположной ложки был большой.

Всё это, включая переглядывание безмасляных (их приходилось в среднем по одному на стол, так что переглядывались столы), – всё это уместилось в несколько секунд, слишком скорых даже для цепной реакции сержантов.

Секунды прошли и сержанты звякнули цепями.

За моим столом прохрипело: “Что, салаги...щ-щ-щеглота х...ва, совсем оборзели!!!!”

И масло, разорванное на куски, стало нехотя проступать на опустевшей тарелке. Он пододвинул тарелку к себе, сдавил куски двумя ложками, спокойно отделил половину, переложил ее на свой кусок хлеба, а потом оттолкнул тарелку на середину стола.

“Теперь разбирайте!”

И снова произошло мгновенное, как язык хамелеона, сражение ложек и сосредоточенное намазывание на хлеб. Вернее, размазывание по хлебу того крохотного, что досталось каждому.

Отсутствие масла в моем рационе – это надолго.

(Как и нечищенные зубы)

Потом, правда, они приобрели масляный порционник, и мы уже не должны были сражаться ложками. Каждый брал свой круглешок, хотя и старался отхватить от соседнего, если два неосторожно склеились.

...мы уже не должны были... я говорю «мы», потому что обязан встать в ряд.

Нет, я не рвал ложкой от куска, но я очень хотел масла... я очень хотел оторвать... как и они... как и они... а то, что стыд не позволил – это не оправдание.

Настоящее достоинство – это не желать, а не не сметь...

Впрочем, может и заблуждаюсь.

Что мы знаем о достоинстве?

Особенно в армии...

* * *

А жизнь нам и на круг не очень-то достоинства дает.

И разветвляет потихоньку,

и студит ссадины колен,

заботится – пока лежащи –

и убаюкивает скудость,

и резвость добавляет в нищету.

Всё даст, но только ты попробуй

привстать, продемонстрировать стопу...

и сразу непосильностью на плечи:

“Я не просила вас вставать!”

Но вставать надо было. Как ни удобно лежание на рельсах, но раз мальчика перерезало не до конца, то надо было вставать.

Вернее поднимать...

Поднимай... поднимай его, человек в белой форме чистого сталинского милиционера... да осторожно... осторожно, замаяжет... ну, вот, я же говорил, что замаяжет!

Ей подали горячее – большееротого кричащего мальчика с голенью, мерно болтающейся на красных сухожильях.

Будем думать, что мы в состоянии рассказать женищину в этот ответственный момент:

.....
.....
..... *и свежая гимнастерка напротив, опрысканная аэрозолем порванной артерии, и скомканная в горле благодарность проклятой судьбе. Какое уж тут достоинство, благодарить судьбу за недорезанность!*

* * *

“Внимание рота-а-а... встать!”

И мы вставали, благодаря судьбу за недоеденность.

Хлеб наш насущный дай нам на весь день!

По крайней мере, до обеда...

Первое время в армии голодают.

Гражданская безрежимность желудка не вдруг соглашается с трехразовым «хочешь, не хочешь» ...

И мы берём в карманы хлеб наш.

От завтрака до обеда он будет нам насущностью живой, съеденной в туалете под неоспоримым предлогом.

И нас будут обыскивать наши погонщики, хотя сами ещё помнят, как таскали в карманах эту тырсу.

Но мы идём!... мы идём на учебное поле.

Оно далеко в тени надрубленной рощи, оно режется сквозь густую зелень пути смешным деревянным танком.

И там мы будем преданно заниматься тактическими упражнениями, бежать в атаку, падать по команде,

снимать и одевать противогаз,

протискивать несмыслящее тело

под брюхо деревянного макета.

...а странно!

.....помнятся дубки и часть природы, принявшая мохнатой пожелтевшей грудью твоё упавшее снаряжение...

солнце без соринки...

нелепость лейтенантского рассказа,
его скучающий зрачок.
Сержанты перекурят на скамейке,
а мы – под деревом... а я – вообще нигде.
Еще полгода мне до срока закурить.

Память любит тяжесть автомата, и бой сапёрной лопаты по ногам, любит за солнце, без заботы маршировавшее параллельно нашим сапогам... любит ту тоску, которая так звала отстать от взвода, вычисленного на р-расс... р-расс... р-расс, два, три...
Хотелось... хотелось развежиться в тишине затихающего марша, проводить печалью превосходства сутулые спины и усилить тетиву, звенящую жалобой, последним укором улетевшей надежде...
И так всё это было невпопад, что надо было давать дополнительный счет собственному строевому шагу, приходившемуся на слабые доли.
Батальон надругательски звенел зеленеющей травой и солнечной готовностью.

Да нет... не могло этого быть!
Нас привезли-то по снегу уже.
Странно... но сердце помнит из весны...

КОНСПЕКТЫ

Ну да, это ж была учебка!
Мы занимались даже по учебнику для санинструкторов.
А я – лентяй учиться.
Так только, что на слух намоталось.
Но научная популярность лысины сыграла мне службу в службу.

Лейтенанта звали Бугай.
Скуластое лицо, мелкое, скучное самому себе от отсутствия пороков.
Добрый человек.
Он ещё крикнет мне на втором году службы: “Интеллигент несчастный!” и рванёт за рукав без любви.
Да разве ж я виню?
Я и есть интеллигент несчастный.
И без любви.
С тех пор, как интеллигенция окончательно оторвалась от попыток народа и замкнулась в удушливом мирке диссидентства и формалистических исканий, все мы ходим без любви.
Не одобряют нас.
Однако, не остывший ещё от мединститута, лейтенант Бугай приманился на мою лысину. Мы, вроде бы, корректно подружились. Я соблюдал его звёзды и должность командира взвода, а он называл меня по имени и доверял делать

конспекты. Командирам вменялось предъявлять конспекты своих занятий со взводами. Он показал мне схему, дал общую тетрадь и я получил подлое увольнение от вечерней отбойподъёмности.

Ведь она свирепствовала и по вечерам.

Даже больше по вечерам, потому что утро диктовало хотя бы спасительный завтрак, а вечерняя поверка – только бессрочную ночь, где у нас был единственный «свой» – сержантская усталость. А сержантская усталость не часто баловала.

Знаете, как молодой!

И глаза слипаются, и всё равно горячка разбудит, только тронь случайно её бедро.

Охота стиснуть ягодицы власти куда пуще неволи сонной.

Нет.... не искали они покоя, не желали блаженного сна, желали страстного утоления.

И корчилось в любовных судорогах грузное тело бессмертной старухи, поваленное на мастичные казарменные доски, и билась об пол её голова.

Я слышал.

Сначала раздавались отдельные, еще ритмичные команды, коллективные ноги дергались в уставной кирзе, потом, уже разутые, глухо били бегом наскобленный паркет.

Скрипели сетки от падающих и вскакивающих тел.

“Отбой!”, “Подъём!”, “Отбой!”, “Подъём!.... подъем, блядь, я кому сказал! Что, команда не ясна?” – это всё глухо... из дальнего угла расположения.

Скрипели сетки.

Стучали сапоги, неупетые надеть.

А потом, вдруг, совсем у двери ленинской комнаты, звучало разгоряченное и требовательное: “Второй взвод, ко мне!”

Так призрак замаячившего оргазма заставляет юношу...

“Второй взвод, ко мне... ко мне я сказал!”

И ногти его дрожащих рук уходили в дряблую мякоть истасканной задницы.

“Ко мне, второй взвод!” – они глухо начинали бег и накатывались на ленинскую комнату.

Топочущим стадом набегали.

Стыло внутри от шума их общего вдоха.

Я слышал, как они стоят и ненавидят меня сквозь стену.

Меня, а не юного насильника в ушитом х/б, сосредоточенно долбящего развратную старуху, давно уже раздолбанную до полной невозможности по-настоящему сжать ствол властолюбия. А он не понимал, он верил в маячивший призрак, в осмысленность изнуряющей дерганины и добавлял скорости, и нервно вздрагивал, ошеломлённый темпом своих исканий: “Отбой, подъем, отбой, подъем... от... ём... бой... ём... под... ём... бой... бой, я сказал... ём, суки... ём, блядь... ём... бой...”

Так совершалась эта страсть...

.....и что-то билось на полу, невидимое из-за стенки.....

*уже конвульсии команд, как бы: “ещё... ещё”,
упрямой, нечувствительной утробы,
как бы: “на, на, туда, туда”...
шипящего малинового члена...
.....разорванность, которая не в счёт,
и кровь, которую не замечают,*

*а обнаружат лишь уже потом
на простыни, от пота взмокшей.*

Падал взвод и его било неритмичностью скомандованных отжиманий, недружных подскоков. Он обливался жидкостью изнеможения и слезами, копившими отместку.

Кому, мне?

Но за что?

За то, что ленинская комната сочилась красными лозунгами.

Кровавый пот истязуемых проступал на подлюю мою изнанку, словно это и были те самые простыни лонной разорванности, только уже развешанные по стенам.

Ко мне, спокойно занимавшемуся своим делом, вернее.... несвоим делом, взывал глухой топот ног, напоминавший биение головой об пол, и нетерпеливые крики команды, речитатив насильника, уже сломавшего сопротивление жертвы и теперь требующего от своих органов послушания, то есть адекватности первоначальной воле к оргазму сквозь естественный ужас человеческого стыда перед совершаемым.

Я занимался несвоим делом, дожидаясь, пока извергнет всё мальчик, лапающий дряхлое тело власти, и выходил в раздавленную сном казарму на цыпочках потрясения. Дежурный по роте не обращал на меня внимания, а дневальный косо ненавидел меня у тумбочки, потому что собственными глазами знал судьбу, которой я уклонился.

Случалось, правда, и мне несколько раз попасть в сержантскую нежность.

Когда не удавалось увернуться.

Когда приходилось встать в ряд.

И запах общего пота и общего страха еще не испытанных мук становился и моим запахом, его источал и я, потный и страшный в растерзанном от бесконечного одевания и снятия х/б, который так и не удавалось в итоге ни окончательно снять, ни окончательно надеть.

Я помню бег по казарме со спущенными брюками, потому что неуспетый застегнуться брючный ремень выдергивался неусыпным сержантом и забрасывался в самый дальний угол, а бежать-то всё равно надо..... было.

Это стряслось со мною несколько редких раз, когда не удалось не встать в ряд.

Когда пришлось.

А из того, что было не со мной, помню боксёрские перчатки.

Их появилось неожиданно и сразу две пары. Сержант из самых лютых заставил курсанта надеть, надел сам, а потом с горячим желанием замесил курсанта, который так и не поднял рук, потому что понимал, что один ответный удар будет стоить ему бессонной ночи и неизвестно каких побоев в туалете. (Избивали сержанты в туалете. Там они нас «учили».)

Из самых лютых.....

Сержант Рыбаков.

Русый мальчик, с лицом ранней апоплёксии.

В минуты близости с властью, (в сексуальном угаре «отбойподъёмщины»), оно багровело. Багровым оно было и тогда, когда он молотил довольно дюжую куклу в курсантских погонах и болтающихся боксёрках.

Думаю, всё таки, надо быть объективным в отношении младшего командного состава. Этот мальчик – с доброй русской фамилией Рыбаков – не вполне типичен, потому что был органическим садистом.

Я это смекнул еще до боксёрских перчаток, а через три месяца после перчаток он был уволен из состава учебного подразделения за избиение курсанта штык-ножом (нет-нет... зачехлённым штык-ножом! если вам от этого становится уютнее).

Да... органическим садистом.

Он и сержант Пробст...

(который повстречав меня на зимней аллейке к штабу, заставил вернуться и пройти строевым шагом, отдавая честь каждой из голубых ёлочек, за то, что я, курсант... “соловей!”... “ё...ный салабон!” ... “щеглота х...ва!!”... пробегая мимо не отдал ему чести).

Он и сержант Пробст.

Они оба тыкали в курсанта Субботина штык-ножами (ну да... да... зачехлёнными, конечно... они ж садисты были, а не сумасшедшие), пока тот не кинулся с криком в штаб, где с его цыплячьего тела сняли х/б, зафиксировали красные центры ударов с синими обводами гематом и сурово наказали баловников-сержантов – разжаловали в рядовые и отослали в Хабаровск, где тех спокойно устроили кладовщиками на склад армейского обмундирования. Злоупотребившие лоном власти были, таким образом, лишены секса в его высочайшем насильническом смысле и уже вынуждены были «добирать» в гражданских постелях хабаровских поварих, выкручивая им руки и оставляя на ляжках синие пятерни.

Так грозно карает СА.

Иногда, впрочем, бывает она и щедрее на наказания!?

* * *

А вообще-то марш-бросок на Сопку Любви по полной выкладке мало чем отличается от избиения зачехленными штык-ножами.

Интересное название, правда!

Это не сержантская, это офицерская придумка.

Лейтенант Смолин, тощий и жилистый алкоголик, командир нашей роты, выпускник Военномедицинской Академии и Кремлевского “мавзолейного” полка (представляете, какой у него был строевой шаг!), непринужденно выполнявший склёпку в свои сорок лет пожизненного лейтенантства, отыскал в тайге этот камень и назвал его – Сопка Любви. Он любил балет, знал названия всех элементов классического танца, придирчиво понимал, когда солистка “не докручивает”, прозевал по пьяному делу все свои звезды, изящно декламировал “ебитов” вместо скучного “е... твою мать” и был скрытым педерастом (я узнал... мы узнали это случайно на втором году службы, когда он, совсем утративши вожи от пойла, стал расстегивать ширинку одному красивому курсантику, порываясь исполнить ту женскую процедуру, которую мужики на Руси очень грубо называют, пытаюсь спрятать под неструганым

хамством острую сексуальную зависимость и тайный трепет жаждущей глубины).

Смолин был изысканный военный.

Он гордился своей великолепной спиной, презирал армию, но оставлял в ней место персональной аристократической осанке.

Он даже упражнения на турнике делал, не ослабляя струнной натяжки позвоночника.

А еще он отлично бегал.

И это было нашей погибелью.

Моей – и прочих «трупов».

Марш-бросок был двойным проклятием предпоследних, потому что им приходилось волочь на себе последних-полуживых. Сержанты пинали в спину до тех пор, пока еще бежалось, а когда «труп» начинал падать, они оставляли его на яростное попечение предпоследних, ну а уж те волокли по самым острым местам. Ругань была хриплой и тихим было заведение зрачков. Смолин безнадежно пропадал вдаль с группой самых сильных.

Его спина угарцовывала в листовенную даль, а когда мы, издыхая, извиваясь от внутреннего ожога, дотаскивали последних, его круглые гиммлеровские очки встречали нас презрительно и скупно. Сопка Любви была фактическим каменным карьером в полуоткушенном утесе.

(Почему сопка?)

И стоял там в сторонке столик со скамеечками, где однозначно презирали нас сержанты и командир. Основная часть роты лагерничала под деревьями, последние лежали без оптимизма в белках, а мы, предпоследние, корчились на травке (это тоже, видимо, из весны память...) в поисках хоть одной немучительной позы. Конечно, в марш-броске было меньше унижения, чем в избиении зачехлёнными штык-ножами, но столько же боли.

За пол курсантских года были и зимние марш-броски, когда мы, предпоследние, падали на снег, и он таял под выходившим из нас огнём.

Нас не били, нет... нас просто истязали.

Понимание невозможности для многих из нас таких пробежек, помноженное на устав, требовавший боевой готовности, доводило и до батальонных марш-бросков.

.....в ближайшую Настасьевку.

Была она неблизкой, эта ближайшая деревенька, и много наших «полегло» в пути.

Последних и предпоследних.

А я не побежал.

.....я тихо испарился из роты.... я ушел в музыкалку... я стоял у окна и смотрел. Я смотрел, как потянулась на гибель еще целая, еще не разорванная изнеможением и потому стройная гусеница батальона. Первая рота... вторая рота... ритмично хлопающие саперные лопатки, АКМ-ы, скачущие за регулярным плечом.

Мне не было стыдно, хотя я предавал тех, с кем волею судьбы был, вроде бы, поставлен в общий ряд. Я искал лёгких путей (как сказал мне однажды сержант Горбенко и больно хлестнул по лицу зимней шапкой, определившейся шнурком в глаз).

Да и искал..... потому что не видел выхода из трудных, спокойно шёл на компромисс, не чувствовал его, не страдал совестью, не понимал, за что вообще обречён на эту явно не мою жизнь.

Ух, денек был тогда солнечный!
Красивый, как молодой олень.
Я удивлялся собственной решительности в борьбе за жизнь.
Ведь уклонение от строя могло и даже должно было быть примерно наказано.
Нет, что угодно.... только не бежать... только не это...
И я спрятался в шкафу.
Странный шкаф – пустая секция оружейной пирамиды.
Задернутая металлической сеткой оружейка в пустующей казарме была отведена мне для уклонения от строя.
Нам.
Но до этого пришел замполит.
Он пришел уже в первое утро.
Новеньких, только что истерзанных первым сладким подъёмом, загнали в ленинскую комнату, а вслед за нами туда вошел миниатюрный с волчьей челюстью человек.
Он улыбался хищновато и обаятельно.
Его погоны были капитанскими.
“Капитан Оврученко, заместитель командира батальона по политической части!”
А нам ничего не говорило.
Мы вообще ничего не соображали после первой сержантской ласки.
И он задал спасительный вопрос: “Музыканты есть?”

ПОЛИТЗАНЯТИЯ

А замполит роты был простой и очень глупый человек, большой и добрый, вменявший уставную молитву, но внутренне тяготевший к прощению. Трудно представить себе набор в политучилище, который мог бы проглотить приёмом такую первобытность и выплюнуть выпуском такую неотёсанность.
(Хотя... мог ли быть иным набор в политучилище?)

Старший лейтенант Клинов, розовощёкий и тоже уже запаздывающий в добирании звезд.

Когда он отчитывал, хотелось улыбнуться, а когда гневался – пожалеть.
Его пожалеть.

Собрав нас, он объяснял, как неоднозначны пути геополитики (он не знал, конечно, этого слова, но то, о чём он рассказывал, имело отношение к геополитике).

“Тут сабражать нада... мы шож, думаете... так прѳста?! Япония он как пошла... он как пошла! Ей нефть нада! А мы ей даём... трубы, понимаешь, прокладываем... пусть берут! Заводы строить?..... и пусть строить! Они понастроят на нашей нефти, а потом... шо не так... мы крантик завернули... *ать!*... и политика наша!”

В этом «*ать!*» мы ощущали чудовищную ловушку, силу нашу над Японией чувствовали, и стыли сердца от захватывающего могущества нашей справедливой коварной страны.

На Дальнем Востоке замполиты говорили в основном о Японии и китайской угрозе. Радиоприемник “Казахстан” в радиоузле части стоял с опломбированным японским диапазоном.

Мы коллективно не хотели слушать врагов.

А про китайцев, вообще, всё было проще пареной репы.

Они (китайцы) репу и не едят.

Они рис едят.

И нам так и докладывалось, что “...вы не думайте себе... это вам не... они горсть риса в карман и – босиком по двадцать километров в час, а до границы 75 км. А укрепрайоны... они, конечно, продержатся, но..... могут и не выдержать. А тренируется китайская армия в условиях, приближенных к смертельным. А вы бегать не можете!!!”

Но иногда я замечал, как перед учебной тревогой или наметившимся марш-броском Клинов отправлял в наряд слабых, как перед самым кроссом, вдруг, грубо отсылал какого-нибудь «трупа» с совершенно идиотским поручением, а уж потом выходил на плац и с тихим напряжением стоял позади гиммлеровских очков безжалостного Смолина. Он очень сердился на незаправленных бедолаг, ругался громко и неуверенно, но ни разу не допустил до наказания «своей властью». (Есть такая штука в армии – наказание «своей властью», без согласования с командованием. Так вот он ни разу не допустил...).

Меня Клинов не любил.

Он порицал меня этически, не разумея отлынивания из ряда.

Его душа знала милосердие, но не знала выкрутас.

И курсантом не любил, и потом, когда я остался на их плечах бесполезным сержантом.

А мне и трудно возразить.

За что было любить пришедшего служить со всеми, но не желавшего служить как все?

В людях неумиримо живет чувство коллективной участи, коллективного протеста и коллективного смирения.

Несмирённость одного они понимают как вызов, как несмирность, как нежелание разделить.

И называют это поиском лёгких путей.

Правильно называют!

* * *

Я спрятался в шкафу.

Но началось с капитана Оврученко, задавшего спасительный вопрос: “Музыканты есть?”

Я отозвался моментально, тремя продуманно неловкими словами набросал свою профессиональность и успокоился, проверив глазами, что гарпун засел хорошо.

Замполит уже не терял меня из виду.

А вот я его терял.
И самого себя едва не потерял.....
Несколько первых дней чуть было не сшибли меня с толку.

Уже на второй день нас повели к работам.
Распределили ломы, кайла и лопаты и развернули перед нами паханую перспективу офицерского городка.
Но даже с кайлом в канаве я понял не сразу.
Физический труд не страшен до первого взмаха.
Я замахнулся красиво, как матрос на картине Дейнеки.
Сладко зажмурившись, я рубанул кайлом, почувствовал, как взвизгнули от боли ладони, открыл глаза..... крошка отмороженной земли еще катилась мне под ноги.
Маленький, нехотя, камешек.
Я оглянулся.
Меня не замечали ни лопаты, ни кайла.
Сержантский бушлат ёжился наверху ко мне спиной.
Был солнечный и синий ноябрьский шестой час.
Тот час, что нас томит сосущей болью, сладким вытеканием души.
Кричала колючесть веток.
Пронзали косые тени.
Пять офицерских девятиэтажек дружно тарачились ослепшими оранжевыми окнами.
Работал взвод.
Без звука, как в «великом немом».
Кайла и лопаты двигались, но земля молчала.
И я стоял перед своим по видимости глиняным выступом, на который истратил всю силу первого и последнего удара (о втором нечего было и думать – руки отсутствовали!), тупо глядя в микроскопическую ямку откола.
На меня с любопытством глядел задержавшийся на минутку Дальний Восток.
Его солнечная мина была слегка растерянной, как у Портоса, которого наивно треснули табуретом по голове, а теперь ожидают, как он грохнется.

“...ты что, мальчик... действительно решил, что можно от меня отколоть этим железным зубцом?”

Он небрежно хмыкнул мне в лицо ледяным ветром и продолжал свой путь как-то даже разочарованно... как будто хотел сказать:

“Ну знаешь... я был о твоих умственных способностях лучшего мнения!”

Видимо, я сделал, всё-таки, еще несколько ударов, потому что на обратном пути в батальон я не чувствовал не только рук, но и души...
....да ведь я умру просто... загнусь тут, и даже не отлетит...

А после ужина меня подозвал исполняющий обязанности старшины.
Старшины у нас были не прапора, как в линейных часях, а из сержантов назначались, но наш назначенный старшина болел в медроте, как раз, а замещал его другой пёс из самых звериных.

Однако, даже самые звериные из славян имеют совершенно прямое отношение к еврейской лысине.

Лысый – значит крученный.

И он назвал меня каптёром.

“Хочешь быть?”

“Хочу!”

А как не согласиться, когда ты вдруг оказался в тихой полутьме горячей каптерки, где стоит письменный стол, и весь кошмар наружного мороза и бесполезных кайл видится через умеренное окошко.

Я не подозревал, что за этим «выгодным» предложением кроется особое армейское барышничество, ворованье простыней и сапог, подмена шинелей, тихие отношения с каптёром смежной роты, наволочки, проданные налево, и регулярное бегство за водкой для старшины.

Из меня – такой же еврей, как и солдат.

Но он-то не подозревал, что я не подозреваю.

Он, наверно, и не знал, что еврей может не подозревать.

И видел прямую выгоду.

А я – единственное спасение.

Короткий инструктаж, ключи, и я остался один в обществе простуженных валенок и немногословных шинелей.

Я сел.

Впервые за последние десять дней (семь суток поезда + сутки дивизионного городка в Хабаровске + вторые батальонные сутки) тихо опустился на стул.

У меня дрожали руки.

Те самые руки, которые я чувствовал в последний раз перед первым и последним ударом по Дальнему Востоку.

Они незаметно реанимировались у раскалённых радиаторов.

Лишь мало по малу я разобрал страшный жар каптерки.

И расстегнул воротничок (впервые за двое суток казармы, не считая конвульсивного разрывания на отбой).

Всё это было ещё до конспектов, до лейтенанта Бугая, до спасительной ленинской комнаты... и зоологический рёв воспитателей наших только в первый раз обрезало захлопнувшейся дверью.

“Господи, как они орут... как же они орут... и как отсюда выйти теперь – из этой неправдоподобной тишины?”

За окном качало висячую лампу на проводах.

Звук выключило.

Кино вдруг перестало быть страшным.

.... сел..... дрожали руки.....

Регулятор громкости был плохой, как в отечественных радиоприёмниках, и, выведенный на ноль, давал пробои уродливыми хриплыми звуками.

Где-то взрывалась казарма, не умолкавшая воспитывать скоростные навыки.

Там бегали и сталкивались преследуемые взводы. Там разрешенные мальчишки в лычках вонзали свои деревянные от возбуждения снасти в бессмертную дряблость вечной старухи.

И она глухо била об пол сапогами, как посиневшим крестцом.

При полном свете казармы... сто пятьдесят прыгающих и падающих... вот спящих, а вот бегущих... вот раздетых, а вот одетых до неузнаваемости... и глухо – сапогами, и ещё глуше – босиком...
.....и всё пробивалось ко мне еле-еле,
пропихивалось в замочки скважин, как скрученный в тонкую трубочку кошмар.

КАПТЁРКА

Эх, жизнь моя – каптёрка!

А всего четверо чумазных дней, и кончилось моё чудовищное благополучие. Оно распадалось стремительно, нервным стуком сержантов, требовавших каждый своего – новой зимней шапки, лучшей пары валенок, свежего бушлата. Поди не дай... сразу – в рыло.... по сержантскому расстроенному праву. А старшина, вернее, его и.о. угрожал никому не давать, а только с его (и.о.) позвола.

“Да я – Ранчугов, понял, ты, щегол ё...ный!”

Я пытался не понимать.

Объяснениями стеснялся, что “мне ведь не велели!”.

В первый каптёрный день я ещё верил, что ругань на меня будет остановлена, но приходил и.о. и равнодушно не спасал меня от сержантской напасти. Не возмещал мне гарантией безопасности... улыбался, пожалуй... Может даже и хотел, чтобы сомкнулись на мне челюсти вымогательства и запрета.

И они смыкались.

Дать не мог, потому что – и.о. заламает, а отказать тоже не мог, потому что разъяренный «дембель» не знает обузданий.

Они были яростны, как разлитая сера.

“Да я – Ранчугов... понял ты – кишка драная, я тебе штифты твои сейчас повыкапываю!”

Ловчить я стал к исходу второго дня.

Давал и прятал недозволенное, маскировал недостачу под комплектность... и ждал, с ужасом ждал разоблачительного конца.

Я засыпал на стуле, размороженный коротким одиночеством между требованиями. Засыпал страшным от непривычности недосыпом ранних подъёмов и жаром. Несколько раз за этот день я падал в короткий удушливый сон постепенного сползания головы на грудь, и снилось.... снилось....

.....чёрное утро, общий грохот поднятого стада, лай хриплых собак дисциплины, моё счастливое неучастие в истязании, потому что: “Каптёр, ко мне!” – раздалось почти одновременно с “Р-р-р-рота, подъём!”

Быстрый одёв мимо алчного иска сержантских глаз, быстрый обег косвенными путями (кроватьные комбинации позволяли обогнуть лобное место, где в эту минуту карали ещё не проснувшихся и перепутавших пуговицы),

спокойствие оттого, что не раздастся выстрел команды в спину (каптер – человек старшины!).

И.о. ждал у каптерки, и, наградив меня ключами, послал в сарай на выдачу инструмента. Со вчера ещё, видимо, имелось предписание отправить «взвод» на снеговой рубеж.

Это означало – полчаса кайлом и ломом.

Вместо зарядки.

Но даже мёрзлый лом, отдирающий куски от ладоней, был спасением для всех, кто не умел бегать. Этот бег в дальневосточной ночи, эта живая смерть задыхания, стала пугалом курсантского полугода. И лишь двое были по штату неподвластны – киномеханик, сочетавший и почтальона, обитавший в радиоузле, а потому обязанный включать батальонное радио по подъёму, и каптер, то есть я первых моих четырех дней, поступавший с зажженного света в распоряжение старшины.

Я побежал к сараям.

Бежал, запахнувшись в непомерный бушлат, умирая от сна, не веря в реальность этого подземного мира, в котором ещё могла шататься метель.

Я отворял хищные замки новенькими солдатскими варежками (которые отрыл в каптёрке и которые, я знал, будут далеко не у всех, кому я вручу ломы).

Я отворял варежками, и замки кусали варежки, не в силах оторвать от них то, что легко оторвали бы от голых пятерней.

Мне.... я едва успевал сориентировать себя в хаосе набросанных орудий, как подходили взводы, и сержанты ногами торопили моё усердие: “Та шо ты там му-му е...шь? Кидай шо попало, сами разберут!” И я кидал из сарайного дурмана железо и дерево кайл... кидал ломы на снег, а они разбирали голыми руками, поторопленные сапогом. Это кидание пресекалось последним командным “Хорош!”, и я видел, застряв в полуподавшейся калитке, как они уходили.

В мелкую сыпь... казавшуюся черной под бредом качающихся фонарей, в утро снеговых рубежей, которое ещё долго будет ночью.

Уходили, благодарные снегопаду, что хоть не бег...

Уходили, ненавидя меня спинами.

Я знал – они ненавидят.

И начинал затворять, и спотыкался о лишний
инструментарий, и черт...ыхался и возвращался...
.....тился в затихшую от покинутости роту.

И скрылся в каптёрке.

Несколько раз в этот день я просыпался, волоча из клейкого сна собственную слюну. С ужасом видел это позорное невладение отвалившимся ртом, судорожно подбирал провисшую нить, но усталость не уходила, а только меняла позу, и я исчезал в сомкнувшихся мохнатых лапах. Они были жаркие и всеильные, они убивали на месте всеобщим наркозом.

И давали мучительную правду сна.

Мучительную правду, что.....

вчерашний вечер закончился избитым дневальным... посылом в сарай за консервированной гречневой с мясом, потому что....

...потому что каптёрное пьянство и.о. с подгулялыми дембелями..... и закусон... и я побежал, и конвульсивно рыл дурман сарая, и нашёл, наконец, эти промазанные солидолом баночки.... вернулся, счастливый оттого, что нашёл, что не попаду под пьяный кулак... вскочил в спящую роту, а...
...а он уже попал, уже стоял окровавленный и смиренный по команде... и дулась ударенная скула..... не понял...

..... я не понял и услышал: “Каптёр, ё...ный твой рот... где ты лазишь, когда дедушкам закусить нечем?!”... и я вбежал в каптёрку, и тут же шарахнулся к стене от пущенной в меня банки консервированного «не того», чего им хотелось, а хотелось им гречневой с мяс... и успокоенные желудочным предчувствием, они налили друг другу и отослали меня спать, ленивые бить и ругаться.

Кто-то из новеньких моего привоза остался играть им на гитаре сквозь слезящиеся глаза отнятого ночлега.

Не помню.

А дневальный, у которого под веками так и застряли невыплеснутые слёзы, проводил меня странным понимающим словом: “Вот так, Боря!”

Где он успел узнать, что я – Боря?

В грохоте двух первых беспосадочных дней мы ещё и слов друг другу не успели...

Мы неостановимо бежали под бреющим сержантским полётом.

Я не заметил ненависти в его обращении.

Казалось, он понимал, что совесть моя больна.

Тогда ответьте мне, чем он понимал это...

...то, что я понял пятнадцать лет спустя?

Эх, жизнь моя – каптёрка!

И оставалось всего три чумазных дня, три тёплых и вонючих кучи моральной грязи, завершившихся плоской скользанкой презрения, на которой я растянулся во весь мой подлый рост.

* * *

И добровольно не спать... не спать, и что? Чтобы чуть-чуть, хотя бы, набормотать с чужого голоса? И думать о плоской скользанке презрения, да? И повторять в стыде душевном давно растянутый поскольз?

Да наплевать мне, в сущности, на весь мой подлый рост! Займите гордость чем угодно. Только бы писать и успевать, вдруг, за трескающимся алмазом. Раздайте каждому по жизни и слушайте, как он ногами сучит и прокликает за всё, что так или иначе было с ним. И любит всё подлое и морально грязное просто потому, что это уже было.

С ним.

А если не с ним?

Да, если не со мной!?

Что делать, если перерезало только ногу, и хромо жить оставило?

И кричащее солнце перелома забылось, в конце концов, потому что дежурный хирург оказался молодым гением, изящно составившим то, что обычный ординатор отрезал бы с глубоким чувством выученного профессионализма.

Бахтин, Бахтин... ныне маразмирующий академик, ретроград от онкологии мужского яичка. Но тогда он был молодым эльфом, гением на дежурстве, и за два часа составил несоставимое. И мальчик остался на двух ногах.

Одна короче, да... но в беге не рассмотришь. И побежала жизнь!...

А мать, завернутая в плед вернувшегося дыхания?...

А отстиранная гимнастерка?.....

Всё пронумеровано на складе памяти, всё успокоено, отлито в незабываемую бронзу...

Ему жизнь подбросила уже было украденную ногу... а для чего?

Для оскорбительной судьбы строить пожизненную каптёрку?

И осмотрительность, доразвитую до выкрутас?

Революционная мать ослабила новый энтузиазм, и очень долог был бы рассказ об изгнанном музыканте по имени Шура, о жертвоприношении усатому плейбою с пятиконечной заточкой.....

о жертвоприношении собой и мальчиком, о пылкой судьбе парттысячницы, угробившей себя с революционного пьяну в заводском стружечном климате обречённого Подольска, о хромоногой карьере недорезанного комсомольца (потому что в стружечных буднях все озверевали до комсомольского состояния), о его комитетской искренности, завершившейся уместным по времени прыгом в самый рабочий низ, потому что кремлёвские усы уточнили евреев в качестве, и полилась кровь космополитов по пяти заточенным лучам. Долог был бы рассказ о студёном свердловском знакомстве с девочкой в валенках и платке накрест.

....благодаря нестройной ноге и по прихоти эвакуации.

Был бы долог, – о письмах и влюблённой разногородности, о тайной столичной мечте и яростном порыве вверх (в очевидную возможность жизни) из стружечного дыма искусственной пользы, в которой тёмная парттысячница уже умирала от туберкулеза.

Амалия Левит выполнила разрушительную программу своей дурацкой жизни: изувечила молодость музыканту с вечной притчей в глазах, а хромоногому мальчику – детство, соорудив ему серый саван из чада подольских труб.

Ему и себе.

И вот теперь она примеряла свой саван, а неукротимый юноша, обманувший войну раздробленной под трамваем костью, рвался из своего – в чистый как расписная сказка Киев... тот самый Киев, который безжалостно отпустил меня в армию, втихнул в каптёрку и довел до плоской скользанки презрения, на которой я и лежал теперь благополучно.

Во весь мой подлый рост.

МУЗЫКА

Музыка?
Сквозь этот вековечный стон?
Музыка, как что?
.....как падение в вековечный верх?
Как путь?
Или спасение?

А каптерка давливала из меня последнее масло.
Явился на третий день из медроты выздоровевший старшина Гашевский.
Красавец-поляк с нежной розового припудра кожей, сверканием синевы и хриплым голосом сорванных команд.
И с каменными кулаками.
Ну надо же случиться такому – в этот момент прислали за мной от замполита части на музыкальный сход.
“Пшёл вон!” – это робко заглянувшему с сообщением курсанту Литвинову.
Он не спеша прикрыл дверь.
Потом легко двинул меня в челюсть.
Исполнено было профессорски, потому что хоть я и не упал и даже не шатнулся, но голова моя произвела невообразимую работу боли и перемешивания мозгов.
Я невольно схватился за череп, а он сказал: “Еще раз музыку услышу...”
И я тут разжевал истинный смысл слов: “*каптёр – человек старшины*”.
Собственность старшины... его казённый пес..... ручная жаба..... вошь на соломенном поводке...
И душным до смерти склонилось надо мной обаяние каптёрки.
И пропечаталось машинописным рядом: **не услышат... убьёт, не дозовусь... куда избежать...**
Потом в работе мы чуть смягчились с драконом, и в тихую минуту, понадеявшись на чудо, я шепнул курсанту Литвинову: “Не зовите меня, передайте замполиту, что я не хочу...не могу... я уж каптёром лучше... пусть *уже так!*”

Но *так* было не *уже* и не становилось лучше.
Наступил вечер, и отворилась вновь блюющая пасть старшинского пьянства, и он с дембелями дико баловался шуточными побоями в тесноте каптёрки, где «хочешь, не хочешь» – мне доставалось по-сильному от их увеселений.
И сапогом, и посуду мыть, и “почему грязная, ё...ный сынок!...”
А спать невозможная гиря свисала с мотающейся головы.
Так обнаруживала себя судьба двадцатитрёхлетнего «ё...ного сына» девятнадцатилетних обклеенных лычками «папаш».
На следующее утро: перебрать все валенки.... шинели и шапки.... разложить на стеллажах.... потом портянки, бельё... приду – убью... и бешенное кручение в узком аппендиксе, под самым сердцем оскаленных радиаторов.

В этом поту меня перебил ещё один стук, заслуживающий повествовательного резца.

Лицо, засеревшее в отпущенной на ширину взгляда двери, было мужественным и сильно небритым.

“Моя фамилия – Горбенко. Я только что после отдыха на батальонной гауптвахте, поэтому прошу вас подготовить мне побриться, а также сменное бельё!”

В этих режуще изысканных словах было что-то морозное.

А может быть, не в словах – в лазурной стали по обе стороны переносицы.

Зная возможные исходы, я собрал ему стопку белья, чистые портянки и электробритву из каптёрного хозяйства. Свободному дневальному я и передал эту бандероль, а потом кинулся на недоразобранные шинельные бастионы, совсем не подозревая, что страшиться надо было куда более близкого.

Следующий стук был явно курсантский, осторожный от незнания – кто в каптерке. Испуганные глаза метнулись в щели, ожидая любого разгрома, и он сказал уже спокойнее, увидев, что я внутри один: “Иди, тебя зовёт сержант Горбенко”.

И мне не понравилось, как он сказал.

Высокий молодой мужчина, которого я узнал только по небритой щеке и лазурной стали, сидел на столе в учебном классе, свободно опростав вокруг торса неподпоясанную гимнастёрку. Ремень он медленно скручивал и раскручивал на руке, ритмично взмахивая... глядя в окно.

“Моя фамилия – Горбенко!”

Тут он повернулся ко мне. “Вы, видимо, недавно – каптёром, поэтому я бить вас не буду на первый раз. Когда сержант Горбенко возвращается с гауптвахты, это значит, что бельё и портяночки должны быть – категория (я уже знал, что «категория» это неношенное, нестиранное, девственное, хранимое старшиной под страхом смертной казни), а бритьё означает подготовленный прибор и станочек со свежим лезвием. Не потребую “Шика” или “Жиллета”, но уж “Балтику”, дружок, рекомендую изобразить. А то я опять попаду на гауптвахту. Вам пять минут на всё!”

Я возвращался в каптёрку и думал, что как ни гадко насилие, но была в речи его красота, что, наверно, так мог бы сказать я сам, если б был сильным и мужественным, а не «трупом», не «дохликом», спасающимся в тщетной каптерке от зубобойного праздника настоящих мужчин.

Особенно метаться не требовалось, потому что бритвенности были в избытке, ну там... лезвия “Балтика” и всё такое – а расправа старшины за бесспросно выданную «категию».... это он ещё когда придет, да когда сосчитает. Надобность увернуться от более скорой и философски обоснованной расправы была насущнее.

Да я уже и суток двое, как перестал загадывать дальше чем на полчаса.

И вот именно это хоронило – жизнь замедлилась до минут, растягивавшихся в зависимости от препятствия.

При более спокойном уме, я, наверно, мог бы задуматься над мазохистским корешком моего восхищения.

Может, как раз в этот миг я познал счастье стёгнутого раба?

А может, это был голос усатого наследия... советской крови отцов?

Вот из этих-то барочных впечатлений и сложился во мне к исходу третьего дня образ задверной гибели и роковой ошибки.

Кратким обеденным перекидом я узнал у Литвинова, что какие-то мальчишки уже собираются в радиоузле, пробуют инструменты, что есть там «ионика» с трепетным названием “Юность”, что хоть и не в радость ушам, но можно приискать на ней пару выносимых тембров... и что, мол, напрасно я... и... А на четвертый день я счастливо поднял сейф и ощутил в спине спасительную возможность.

Поясница выставила свой шанс.

Боль была не такая, как я изобразил страшносудной улыбкой, но вполне конкретная.

Старшина Гашевский попробовал сделать мне анестезию угрозой: “Щас ударю!”, но я знал, что этот шанс – последний, и продолжал мужественно корчиться, прикидывая полную сломанность.

И он не устоял.

Выслал меня под руки дневальных в медроту, где честные врачи вкололи новокаин (я чуть не умер от страха, увидев полный шприц) и удивлённо смотрели, как не действует блокада.

Одна женщина в халате, кажется, разгрызла мои плутни... а скорее всего все разгрызли, и смотрели сострадательно и с презрением на мои неугомонные корчи.

Медрота краснела.

Но главное было добыто: конь испортил борозду... для старшины я стал неубедителен, как для налетчика – перочинный нож.

Мог в любую минуту сложиться.

И тихая команда: “Во вз-з-з-вод!” дала, наконец, отток давно распухшему от перевозбуждения чувствилу сержанта Рыбакова.

Он предчувственно побагровел своим мальчишеским лицом изувера и на мою замявшуюся паузу соорудил шипящее крещендо: “левит, во взвод,... вам **ЧТО НЕ ЯСНО!!!**”

И пнул меня в задницу сапогом.

Я с размаху втолкнулся в пространство коридора и не повернул головы, потому что за мной хрипло выстрелил старшина: “Кончай дурить!” Только тогда я повернул голову.

Рыбаков стал будто ниже ростом и медленно шёл за мной.

Одна половина лица у него была красной, другая – белой.

Глаза исчезли... просто выкипели от подавленных чувств.

А вечером он любовно увлёк меня в наряд дневальным по роте с собою лично в роли дежурного. Он получил меня на сутки и выпался на мне душевно. Вечер ушел на таскание «машки» (это опрокинутая на бок мясницкая плаха, подбитая войлоком снизу и имеющая двухметровую оглоблю в виде ручки. Ее и надо было таскать, или, как они говорили, “тащить”, тонко монтируя трудности полового акта с изнасилованием по-армейски).

“Не вижу зеркала полов!” – радостно кричал Рыбаков, наклоняясь над натёртым участком и делая выражение пристального разглядывания в глянце мастичных досок:

“Не вижу своего отражения, товарищ курсант!” – и я дальше выбивался из сил, организованно исполняя несбыточное.

И теперь уже действительно раскалывалась спина, и теперь уже действительно совершенно невыносимы были корточки, на которых, тем не менее, пришлось проползать всю ночь, отмывая сначала сверкающий линолеум, а потом чёрные лестницы и зелёные панели. Отдыхающей смены я не помню, а помню, что отправленный на отдых, дошел до кровати, лег не раздеваясь, но появившийся откуда-то курсант стал меня трясти и требовать. Он не сразу вдолбил мне, что это уже четыре часа спустя. Пугаться было некогда. Ждала тумбочка дневального, но какой-то страх застрял в горле. Я – хоть убей – не мог вспомнить ни засыпа, ни просыпа..... я точно знал, что мне не дали заснуть, не дали даже прилечь как следует, и только совершенно отчетливое окно серого цвета настаивало, что съеден довольно большой кусок времени. Значит, это я, всё-таки, спал? Значит, это я... спал! И страх медленно пополз вниз по пищеводу. Он остановился только в желудке. А тазик снова сменил тумбочку, «машка» – тазик, и если б зажелалось кому-нибудь веселому скрутить из этого всего ускоренный видеосюжет, то получилась бы зарядка, где три последовательных упражнения: стояние смирно, приседание у тазика с мылом и тряпкой, и таскательная пластика «машки», – сменялись циклично, но слишком медленно, потому что на каждое уходило примерно по часу-полтора. Всего раза два за сутки вклинивалось четвертое – приседание у туалетного очка. Либо просто с мылом... либо с бритвочкой. Была и такая тонкость в воспитательном ассортименте. Бритвочкой, пожалуйста... будьте добры!

...и слушаю, и не слышу...

О, Гендель, распни мою память о муках и предательстве, о стыде и униженном труде, от которого по грязной человеческой милости не осталось ничего внутри. Только насилие.

Об отчаянном нуждании выжить, от которого ничего не осталось внутри – только стыд, и только низость. По грязной человеческой милости. Распни... о, Гендель... распни, распни!

Я не смею призывать Моцарта, я не рискую тревожить Баха.

А ты распни! Пусть крестом воздвигнется твой концерт!

И в холодном ручье анданте я отмою заплёванные слезы мои...

и не буду больше слушать... и не услышу...

не буду слушать... слышать..... выкрикивающий сон окружающих бедолаг,

и видеть не буду текущую по подушкам и по рукам слюну из совершенно забытых ртов... и руки друг друзей,

*снимающих часы с ещё более спящих рук не буду видеть...
не стану, не буду... не стану... распни!*

Нет, не торопится распять.

Да что ему... ему-то что?

А мне было.

Было «что», потому что уже заканчивался наряд, отмирающие сутки медленно разжимали объятия изувера с мальчишеским лицом закатного цвета. И надо было – о, Гендель, ты видишь заплёванную правду искателя легких путей! – надо было идти в радиоузел, где (я знал) собираются в личное время (есть в СА и такое) некие мальчики. Собираются чтобы щупать инструменты и готовить что-то к звучанию где-то, куда меня, отрекшегося во имя каптёрки, никто уже не звал.

Вот она, плоская скользанка:

.....полуснежный-полуледяной асфальт..... крошка штабных ступеней..... коридор с плоским лицом дежурного по части..... плоская дверь... плоский от стыда стук... открытие и... румяные лица знакомых моих бедолаг, которые здесь отходят в воздухе сроднённого музыкой товарищества.

Музыка?

Здесь?

Сквозь вековечный этот стон?

Как что?

Как путь или падение вверх?

Как спасение?

Да, и как путь, и как спасение оживляющей прихотью души, получившей замполитную санкцию здесь, в этом подземном мире сквозь его вековечный стон.

И как путь, и как спасение, и, следовательно, как неизбежное падение вверх!

Их вытянулись лица и улыбки

овальной невозможностью сокрыть.

Но есть пощада свыше торжества,

но есть прощенье свыше наслажденья

падением на бестолковый лёд стыда...

Среди них я узнал Литвинова и того дневального, сказавшего мне: “Вот так, Боря!” Его скула всё еще оттопыривалась, но он был, как и все они, занят своей гитарой, и сразу простил меня....

Как и все они.

Их неизрасходованная юность великодушной была, чем волчья челюсть замполита.

Когда капитан Оврученко вошёл в радиоузел со своим обычным вопросом: “Чем занимаемся?” – я снова ощутил скольжение на плоском льду.

“А что здесь делает каптёр?”

И смешанный, попыточно красноречивый ответ... что, мол, радикулит... не подошёл... да и не очень хотел, а заставляли (да ведь так, в сущности, было, за вычетом трусливой подлости первого побуждения).

*Хочется метнуться от собственной тени, проклянуть
растущее начало недоверия. Что я еще напишу и наживу
еще что?*

*Когда вдруг суждено стало глядывать в сторону,
измявши будни, сковеркав собственный язык.
Метаморфозное взорвало запечатанную гортань.
Новый Овидий?
Священное дело угодности Богу?
Пусть даже никто никогда не разберет, всё равно, –
угодности.
А выражает ли меня количество точек?
И что чем водит: рука или мысль?
И не слишком ли громко?
Тополь облетел, но до конца не изорвать... не изорвать
до конца единственной правды этого абзаца и всей
тайной жизни – ужаса перед бездной двух **Н**...
никто... никогда...*

Челюсть сказала – “Не финти!”

И отвернулась за какой-то надобностью, по которой и пришла.

Все потупились, напряжённо изучая инструменты.

Оврученко заговорил с сержантом Ванюшиным, нач. радиоузла.

Мне стало холодно спиной ощущать бестолковый лёд, и я вышел.

Так же плоско как и вошёл.

И дальше уж совсем нельзя записывать, потому что признавать на бумаге – дело бестолковое, а я и так уже допризнавался.

Ты выйди, выйди за мной, мой глупый читатель!

Со мною выйди на штабное крыльцо и, продолжая глупо верить, сомкни с моим усталым своё любопытствующее зрение...

Что увидим мы слитым общим глазом из-под моха лишних ресниц?

Мы постыдимся увидеть дымчатую высоту луны, обведенной воспалённым кругом предполярной усталости, и серебра сталинских ёлочек мы тоже не станем замечать.

Да... о, да... в минуту глубокой внутренней озадаченности нам обидна чужая лирическая песня, даже если это песня природы.

Что делать?

Из всех мучительных выкрутас недолгой каптёрки и добровольного отречения от музыки я вышел голый.

Я промахнулся мимо скафандра, и проблема выживания выкатилась, как ртуть из разбитого термометра.

Собирай теперь эти брызги!

Путь в ненасытно ждущую роту был коротким и безвыходно обратным.

Там – бесцельный отсид в ленинской комнате, где нам велено было проводить «личное» время за чтением газет. Замполиты подробно намекали нам на генеральную линию, а мы должны были узнавать её в любимой печати, находить в паутине болванной казуистики, трёхсловной аргументации «против» без выслушивания другой стороны. Аргументация «за» в наших газетах вообще непопулярна, так как только заведомый больной может аргументировать против светлых идеалов коммунизма. А больному в больнице место. Если ты спрашиваешь, откуда они взяли эти цифры или просишь, чтоб тебе их сравнили с соответствующими «ихними», значит ты явно в горячке.

А мы и не спрашивали, мы тупо сидели в ленинских комнатах, облепленные горчичниками плакатов... мы сидели и куняли, потому что сержант за столом напротив, посаженный старшим «личного времени», не давал нам спать.

Кто-то писал письмо домой.

Этот кто-то был я.

Сейчас уже ничего не помню о своей любви (и этот новый ужас забвения еще надо пережить), а тогда был полон и однозначен, и всё это было ей, всё было о ней. И даже отчаянная втиснутость в представление о самом себе, в безвыходность своего положения... даже это подразумевало её теплый запах, тоску по раскосым и сладкое невыносимое страдание разлуки тел. Я ткал эту нить ежедневной «Арахной», я ви́л последнюю пуповину, я писал и писал это бесконечное письмо, которое теперь осыпается на меня с антресолей случайно задетым листопадом шести сотен страниц.

*Господи, который есть вечная любовь!... прости мне
временную нежность, не дай изображению окончательно
исчезнуть в растворе красной кровяной соли... оставь
хоть что-то мне, чтобы не полной тщетой
громоздилось за мною прошлое. Пусть Гендель распнет
оскорблённую память, но ТЫ... смири надеждой.*

2

За окном воет по ночам кошка.

Встань к окну.

Она воет.

Кошка.

Не изобретай велосипед – встань к окну!

... кошка.

А что такое, что такое... это же нельзя проверить, этого негде...

Отдавленная кошка воет по ночам.

...и так протяжно... моя с маленькой буквы **русь**.

Это – бедствие под перепившим насильником.

Уже подмята и насилуема... но ведь когда-то должен быть конец... просто иссякание этой недокопченной потенции.

Или просто устать?!

Он просто должен же когда-то устать, выдохнуться.....

...этот насильник, слабый извергнуть язву идей.

Карбункул лопается внутри измождающей множественностью фурункульных головок, гной разрывает то место, где должно копиться семя нормальной жизни.

Карбункул испускает гной слабой зеленой струйкой.

И она воет по ночам, вываленная на перемерзший асфальт.

Но должен же быть, наконец, конец...

Встань и подыми её!

Ты не вбрызнешь в её ороговевшую жизнь ничего.

Встань.... ей холодно и больно.

Она замерзла и постарела землей.

Стенающий Дух её уже достиг крестных высот!

Встань к окну...

* * *

Я стоял в самом конце России.

Стоял ненужным патриотом.

Престарелый курсант.

В своём неподобающем армейском старчестве я выглядывал из гудящего корпуса роты, чеканившей на обед.

И я видел заглавную букву **её**.

Да, видел!

В страдающем коллективе полумужчин, с различной степенью уклужести прорывавших плеву мальчишества, я был из самых неуместных, из самых неподходящих.

Зима мазала по снегу сырыми чёрными стволами – ложбинами слёз.

Заплаканный белый медведь.

А то пурга запудривала, и он казался тихим и мёртвым.
А то снова заплаканным – когда подгнивала оттепель.

Ненужный патриот.

Потому что мои лысеющие двадцать три не могли исполнить турникового минимума, обеспечивающего эффективность защиты Отечества.

В сорокатонной глыбе сливочного масла, съедаемого ежедневно Советской Армией, была и моя воровская пайка.

Потому что... кто не отжимается, тот не ест!

Ну, не должен, по логике.

А ел.

И не отжимаясь ел, и не бегая... и не – гусиным шагом.

Я стоял в самом конце России, попирая ногами её заглавную букву, которую так мало любят русские люди.

Так мало любят, испорченные невежественным знанием, что это – буква “Р”.

Так мало знают, хотя перед лицом бессильной смерти, хотя в лицо вспотевшего врага... да в самый ствол вплёвывают её, эту заглавную букву, с которой кончаются...

Я стоял в самом конце России.

И хотя армия – бестолковое место для заглавных букв (...нигде так сильно, так больно не попираются заглавные буквы...).....всё-таки.....

“Второй взвод – подъём!”

Руби канаты призрачной пристани сна,
наматывай портянку по организованному принципу,
наматывай на коллективную ногу и:

“Р-расс, ррасс... ррасс-два-три”..... шагай за своей воровской пайкой, шагай на утоление мальчишеского утреннего желудка.

Этот стопятидесятиголовый расплывшийся мальчик, прошитый ветром туберкулёзной зимы, чеканом сапожным заслуживший свой завтрак, тащил туда и меня, не заслужившего ничего.

И шёл по краю России престарелый курсант, а в редкие минуты незамеченности он стоял на краю, осознавая только одно – страдающую заглавную букву.

Медленно переставляла лапами первая зима.

Соскоки на снег, стрельбы в норматив и черессуточные ады суточных нарядов, каждодневность подходов к почтальону и письма, приходившие нерегулярно (то есть не каждый день).

*... короткая процедура острой боли... отлипание ожидания и прикладывание на сочащуюся рану нового успокоительного... конверт, адрес – любимой рукой... и строки, наклонные, как подветренные травы... строки, строки... полторы странички тихого замирания перед тем, как снова ощутить надвигание боли... нет, нет... еще раз прочитать... и боль отступит – пока читать...читать...
...ее тело, льнущее ко мне через пустоту разорвавших миров.*

Ее тело – обожествившее и обожествленное.

Бог вытащил меня из проруби.

Простил мне трусливый позор поспешного каптёрства.

А может ради музыки пожалел?...

Я стал-таки музыкантом...

Ещё одна баня, уже не перевалочная а настоящая солдатская, порозовевшая определённой строевых будней, меня спасла. Распаренный красивый сержант Ванюшин обратился ко мне из-под полотенца. Его не звал курсантский строй, его обсыхание и одевание не было уже той судорогой успеть, которая болела в каждом первогодке:

“Ну что ж вы, Борис Ленгвардович, к нам не заглянете? Напрасно, напрасно!”

.....ах да, он – почтальон! Мог видеть на конвертах моё дурацкое отчество.

Письма-то мне частые!...

Я заробел и применил защитную гордость: “М-м-меня как-будто бы не приглашали. Я ж, как бы, провинился”.

“Ну, ну... приходите, приходите... а то до сих пор репетируем без барабанщика. Не вам обижаться!”

Да-да... всё было.

И лёгкое презрение, с жалостью делавшееся ещё обидней.

Красивый распаренный сержант Ванюшин остался неспешно покидать солдатскую баню, меня не удостоив боле.

Сдуло нас нужным сержантским рёвом и понесло на ужин, узурпировать враг у врага пережаренную рыбу в водном пюре.

А может, я говорю, ради музыки пожалел?...

В пустой и громкой казарме возились знакомые мальчики, пойманные сетью обездоленной оружейки. Лишённая стройной красоты стрелкового оружия, она с немим отвращением приняла нелепую музыкантскую экипировку. Зелёные двери пирамид отворились для гитар и примитивной усилительной техники. В углу демонстрировал своё одиночество хай-хэт. Он ждал отчаянного, который рискнёт им воспользоваться. Две погнутые щётки только и добавляли ему, что тоски.

Меня узнали и даже, как-будто, ждали.

Улыбки означали дружественность, и лишь на дне их ещё не умерло презрение, хоть и светлое уже от понимания.

Позор минул и в первом недолгом общении был изглажен совсем.

Великодушный от безбедной штабной жизни почтальон и нач.радиоузла, сержант Ванюшин, был особенно снисходителен.

“Ну вот и вы, Борис Ленгвардович!”

Позже я заметил, что это обращение ко мне, курсанту, на «вы» было лишь частично иронией. Он действительно как-то произвольно уважал мою лысину. Ведь сам-то, как и все музыкальные мальчики, был значительно младше опозорившегося каптёра.

Он стоял с гитарой наперевес, а рядом плёл провода тот самый Юра.

Его скула уже потухла, он заблестел каким-то подобием жизни, коснувшись родной электронной музыкальности.

В первый же сбор мы играли, и рождение звуков ликвидировало нищету инструментов. Я вбивал всё что умел в одинокий хай-хэт, и погнутые щётки были добрым пожатием родного гражданского.

Рота ждала нас неласковыми взглядами погодков.
Ведь мы вырвались из плена ленинских комнат, мы теперь возвращались откуда-то, куда тем, просто курсантам, не имевшим привычки «бузить на музыке», не было хода.
В следующие дни рванулись вмешаться сержанты.
Один за другим они приходили в пустую казарму и голодно прогуливались у железной сетки, за которой мы усердно профанировали оружейную комнату громом гитар и нахальной цивильностью репертуара.
Они приходили схватить нас на недозволенном, вогнуть обратно в беспрекословный рабий круг, но великодушный сержант Ванюшин добро объяснял им с высоты своих метра девяносто и штабной независимости, что тут незримо витает высочайшая санкция.
Нашей защитой и упованием, нашим «спасом нерукотворным» был маленький человек с волчьей челюстью и обаятельной улыбкой.
Замполит.
Он пришел, спустя примерно неделю.
Он посмотрел на меня.
Он сказал: «Что... не устроило каптёром?»
Но в глазах были смех и прощение: *не спасайся у чужих! Со своими и беда...*

* * *

А каково одному встречать рассвет?
Дневальный по учебному корпусу.
Труба дышит тёплой кишкой.
Большая труба.
Спортивный зал учебного корпуса – это большой сарай, где доски очень плохо притворяются полом.
Земля зевает мерзлотой сквозь щели их недобросовестности.

Они нашли способ.
Вернее, думали, что нашли.
Они стали нас записывать в неукоснительный наряд.
А что ж, это служба!
Так почему бы и не нас?
Черессуточно не отдышишься.
Сегодня с КПП, а завтра на кухню.
Рота нашла против нас средство.
Вернее решила, что нашла.
И нос лейтенанта Смолина покраснел, как спьяну.
И очки его гиммлеровские добро прояснили.
Даже показательная склёпка стала еще клинковой.
Он отходил от турника и с удовольствием обретенной уверенности наблюдал, как я подвешиваюсь на перекладину, как безрезультатно пытаются руки... как бесконечно вытягивается шея, стараясь хоть макушку доставить по месту недостижимого назначения. Это был момент душевного отдыха и доброго презрительного смеха.

И я качался, вывешенный на всеобщий сквит.
И сваливался в конце на долгожданный пол, и совсем не презирал себя...
но..... что-то красное обжигало щеки.

А встречать одному...

И труба шипит сытым удавом, и ночь уже не ползёт, а ползает на пяточке у
окоченелых ног, и на исход её уже нету надежды, и мольба о сером цвете в
окне уже не пугает тщетностью, и холодно уже давно не снаружи, а изнутри, а
изнутри толстого удава горячо, и ты ляжешь... всё равно ляжешь на него лицом
вниз, в воротник шинели, обняв руками и ногами круглое тело тепла.
И уснёшь, забредив невыносимой усталостью и дневным письмом, которое не
могло согреть, но теперь, раскалившись в нагрудном кармане между
изнасилованным телом и урчащей трубой, больно ласкает иглами букв.
С них стекли шарики оледенения, и они входят глубоко в подставленную
беззащитность и толкают её своим пульсом.

*Ты спишь, мой маленький,... мой заживо уснувший.
Мир остановлен. Всё спасено и рухнуло вверх. Ты спишь в
самом конце России, навалившись головой на её и свою
заглохшую заглавную букву. Реверберированное отдыхом
сердечной мышцы, до тебя не долетает ни её
почерневшее, ни твоё собственное Я. Оно разветвилось
узором на промокашке беспамятства, вытекло из
непослушного рта слюной на воротник шинели.
И напрасно крадется собака.....*

Пульс письма бесцельно толкает нечувствительную грудь, жизнь
позаботилась о твоём спасении, ты раздавлен бессилием, уклонён от
последнего надрыва.

И напрасно крадется собака...

Рыхлому комку слюняво сопящей шинели не уследить за скрипом дальней
двери, за осторожным и направленным крадом, намекающим на посеревшие
окна.

Ты всё ещё смотришь запаянными глазами в чужую ночь, голова неудобно
свернута на кривизне трубы ...нет, тебе не уловить нового дня, подошедшего в
сержантских погонах.

“Спишь?” – пинок тупо клюнул плечо, и серые окна прозрели.

“Та-а-ак... сон на дежурстве”.

Ты слушал растопыренными ушами, а ресницы хлопали, как ставни, корками
кислого больного сна.

Сержантские погоны удобно сидели на табурете.

Их укрепляла твоя сплпшаяся немощь.

Они владели твоим проступком, твоей подслеповатой вознёй заправить
шинель и достать из-под патки забившийся штык-нож... и...

Да не было, не было этого!

Со мной не было.

Мои недоверчивые двадцать три не спали, не могли так детски остановить
мир и рухнуть в запретный космос.

Мне был суждён другой незаконный сон.

... смежание и полупогружение, изуверно проткнутое шомполом предчувствия, минутный провал, но вниз... вниз, где живёт закушенная губа отчаяния, что тебя уже застукали, что над тобой уже предвкусительно стоят. И судорожный взрыв к поверхности, на пределе неотдыхающей мышцы... биение сердцем в грудь и озиране в пустом спортзале, где никого, конечно, нет. Ночь, нарезанная тупым ножом подозрительности на уродливые ломти недопущенного сна...
.....вот что мне суждено было.

И однажды, всплывая сквозь очередную смолу, я услышал...

Коридор был длинный, и от подлого скрипа двери до моего лобного места оказалось достаточно, чтобы я одёрнулся и в два беспощадных взмаха разодрал глаза.

И ещё три секунды наивного подкрадывания, чтоб я успел подумать: “Глупый... глупый...”

Вслед за косой саженью сержантского плеча из-за дверного косяка выдвинулось лицо большого ребёнка.

Ребёнка, ставшего испорченным от лычечной власти и жестоким по неизбежному армейскому наследству.

Ребёнка, ласкавшего в душе безбожную надежду на радость глумления. “Спишь?” – но он уже отяжелел от разочарования... потерял эрекцию... обмяк...

“Не сплю, товарищ сержант!”

Он и сам это видел, но ещё раз раздраженно, как бы стремясь поймать ускользающий повод: “Спишь.....”.

“Нет, товарищ сержант”.

Его было почти жалко.

Эту матерую армейскую спину, оставившую за собой шипящее облако обиженного выдоха: “...повез-з-зло, с-с-сука... щегол ё...ный... поймаю...”

Коридор был длинный, и от моего лобного места до раздраженного хлопка двери оказалось достаточно, чтобы ему сообразить проигранную нелепость и прикрыть её распорядительным окриком: “Смотри у меня!” – как последний передуманный взлай обиженного дога, бросившегося на куст.

Окна уже нацедило голубым.

Измученный этой всеобщей, я клубился у своей трубы и внутренне хныкал от обречённости.

Наверно так хныкал проглоченный Иона, барахтаясь в вонючем китовом желудке.

Потом окна позолотели и меня пришли сменить.

Тот самый испорченный ребёнок с очердной сменой.

Ухмылка – «*неспишь*» – означала, что он уже простил мне свою командирскую неудачу, а, может быть, наелся кем-нибудь другим, менее тревожным и способным ещё к доверчивому сну без забот.

Они решили, что нашли на нас способ.

Несколько первых репетиций стремительно удалялись случайным и обидным оазисом. Мы переглядывались из плотной паковки рот, шагавших к местам назначенных терзаний. Шура Сторонин, милый белобрысый астраханец, поджимал изорванные морозом губы, и его взвод, разминувшись с моим,

передразнивал строевые усилия трех дюжин сапог тремя дюжинами других, ломавших наст по команде – “Взвод!”

Милый астраханец Шура, кабачник и жуткий бабник, бескорыстно влюблённый в свою гитару. Мы уже успели было свыкнуться с его весёлой матерщиной и привычкой подбирать и докуривать сопливые беньки, когда они, вдруг, нашли на нас способ.

Думали, что нашли.

Занятий я не слушал.

Я писал.

Вмучивал себя в слова одичавшей от разлуки любви.

И отправлял, и отправлял.

И получал... и получал, и день без почты был мне страшен.

Всё дорогое в ней становилось мне невыносимо нужным, воспоминания продляли письма, и чем больше припоминалось в сладких муках, тем больше ещё оставалось припомнить, а ещё сочинить и выковырять пером из скрюченного тела.

Она отвечала рыданиями, она признавалась в любви к каждому глазу, каждому органу, она рвалась из противоестественной дали.

Мы сочиняли нашу близость, разыгрывали ее беспощадной вивисекцией.....

Чернила лились, а письма скручивались, натягивались в высоковольтный провод... он тихо звенел, раздираемый взаимным притяжением.

Мы не щадили друг друга, и в этой беспощадности сгорало всё – родные, друзья, память.

Так выживала наша разлучная любовь, била током и током оживляла.

Только так и могла оживить.

И выжить.

*...любимый...любимая... радость моя... радость... всё...
немыслимо... невозмо... тебя... тебя... каждую секунду
жизни... ни о чем... для чего всё... твои... всю меня... всю...
каждой каплей... строчки... руки к груди ... слезами...
слезой... я не могу... я не живу... живу только... конверт... я
закрываю двери... я прячусь в углу... твои строчки...
стро... как нож... остр... блаженства... и справиться...
дрожит... и корчит... мой родной... обнимают тебя в
пустоте... на губах моих соль твоя... нет... нет... нет, ни
мгновения... в этих снегах ты... в этих льдах окон... ты...
коснуться... разве... будет... это будет... это будет?...
это будет скор... это? сожми сильнее... и кровь...
останется наш... после нас... нас... тебя... моё... нас...
закрой глаза, любимая... бимый... мый... мой всегда...*

Я не слышал армии.

Я жил в далёком перенесении, в краю мгновенно исполнявшихся сердечных ран, в стране обид и облаков.

Мы обнимались где-то над Казахстаном, то есть посредине разделяющей нас колоссальной бессмыслицы.

Надушный рявк не заставлял меня врасплох.

Он не заставлял меня.

Офицер не лез в письмо... видимо в слепоте моих глаз была решимость.

Была решимость, что любое наказание... что это вообще..... вообще не происходит, то есть, происходит, но... не со мной.

Как если бы кто-то скомандовал над ухом: «тётмаля, тётмаля!!!»

* * *

“Тётъ Маля, тётъ Маля! Там вашего Лёньку трамваем жить оставило...”
...она думала, что нашла способ на жизнь эту. Но она нашла только способ на собственную смерть. И нашла. И нашла. И теперь, (...тогда) честно умирала по революционному графику. Из-под влажного туловища туберкулеза, навалившегося на её кровать, она уже не видела своего недорезанного мальчика, комсомольца и резвого партийца, пригнувшегося под грузинской косой и из этого неудобного положения лелеявшего марксистский трепет, слегка заикавшийся от периодических оглядок на мавзолей. Но мать-парттысячница смотрела на мавзолей без оглядок. Её не вменяли размашистые заботы усатого жнеца. Она думала, что нашла способ. И умирала строго по методичке пролетарских усилий: партийный призыв, стружечная пыль в лёгкие, клетка в общественном доме подольской окраины, панцирная сетка, замурзанное отхаркнутой кровью «умирало» туберкулёза, объевшегося её альвеолами. В бессветной судьбе мыши революционного подполья всё было правильно. Та же, что и у всех мышей, жизнь на запах жратвы, только воодушевлённая сначала бородастым, а потом усатым пицанием о всеобщей справедливости. Всем мышам поровну! И она умирала за это “поровну”, так и не доцарапавшись до жратвы.
Но выскобленными чахоткой глазами, она зрела великие мышинные рати, грызущие мировой буржуазный сарай. Они доползут, догрызут они!!!
Растащат – и будет всем поровну. Она не замечала дочери, тихо слонявшей штопаную молодость по заводскому городку. Ее взор легко отдавал собственных детей на порошковую краску, которой будут написаны лозунги новых прогрызных планов. Какой-то ненужной тоской просачивалось в мозг желание повидать внука, к которому её уже не допускали, как инфекционную.
...какой-то ненужной тоской ей... мешало сконцентрировать полумёртвое тело на том единственном, чему она была безостановочно предана – на эректированном члене пролетарской идеи, который она предощущала восторгом туберкулёзной одышки.
...какой-то тоской... но тоска... тоска убывала, и взор становился всё восторженней, всё сосредоточенней и чище...
.....и чаще становилось дыхание... и поверхностней.....
только теми корешками, которыми по изысканности вкуса пренебрег влажный гурман. Хотелось бы думать, что она успела почувствовать в себе окончательный по постановлению ВЦСПС пролетарский орган,

почувствовать весь, до конца... почувствовать ещё до того, как взор стал завершённо пристальным... до того, как струя цвета клубничного сиропа проложила через гортань “в царство свободы дорогу”, чтобы и подушку её украсить в праздничный цвет идеи.

Так или иначе, но дефлорация произошла и было посеяно трупное семя.

Способ оказался очень эффективным.

И на мавзолее одобрили.

Кивком козырька.

Она не повидала ни внука, ни сына.

Недорезанного мальчика, скрывающего хромоту, уже зашелестел каштановый город. Лопнули почки весны, эвакуационная девочка размотала платок и отдала ему всё, что было под ним – строгую душу однолюбки, маленькое стройное тело и еврейские глаза, уже запечатанные любовью к нему, верой в него. Всё в их обоюдной молодости было равным и светлым, кроме, может быть, умения мальчика вовремя пригнуться. Девочка, кажется, не владела этим искусством. Но раз пригнувшись и уцелев, можно надолго остаться в этом положении и даже, видимо, до такой степени свыкнуться с неудобствами крестца, что поза пригнутости изобразит все черты гордого разгиба. Ее любовь не заметила (или не захотела замечать) пригнутости. Лишь легкая досада на излишнюю трезвость, возможно, нарушала кровообращение веры. Ей удалось приучить его к мысли, что даже идейную вдавненность в пролетариат не обязательно форсировать хождением в майке на завод.

Старый коммунальный дом в центре Киева взял их, и в своём девятиметровом счастье, смежном с двадцатитрёхметровой трагедией матери-тёщи, они стали жить. Она – веря в судьбу, а он – надеясь однажды в ловкий день сделать судьбу.

...веря в судьбу.....сделать судьбу...

Между ними упало семя жизни, и вылупившийся мальчик озадачил их молодость. Но радость есть во всём. И в коммунальном доме нашлось место смыслу. Вылупившийся мальчик их озадачил, но зато отвлёк мать-тёщу от трагедии в двадцати трех метрах, в которых уже навсегда не хватало мужа. По простейшему законодательству войны.

Мальчик вылупился и басовито орал, перебивая далёкую одышку чахоточной коммунистки, которой только и осталось, что докашлять, давась пролетарской идеей и глядя на мавзолей. Но, может быть... (может быть!), можно было бы себе представить, что в промежутках между приступами кашля, когда туберкулёз вытирал сытый рот, а мавзолей в окошке становился, вдруг, похож на пыльный полдень безнадежной заводской окраины, эта ненормальная слышала из-под кровати... с места ночного горшка: “Баба Маля, баба Маля!”

Не стоит радоваться найденным способам.

Даже если они очень эффективны.

И потопчет сама, и сама отряхнет... и снова потопчет... с обычной своей мотивировкой (то есть – без всякой...).

* * *

Они думали, что нашли на нас способ, и радовались успешному злу.

А мы ужасались своей погибшести.

Мы, четверо музыкантов, уже осмысливали свою отлученность от пустой казармы... от единственной надежды на исход из круглосуточного ада.

И осмысленность положения давала лишь одну видимую паузу – несколько секунд после отбоя.

Короткая полуобморочная дистанция от хрипатой команды: “Спокойной ночи, отдыхаем!” до всасывания в гранитную толщу сна, такого же невыносимо тяжёлого, как скончавшийся день.

Он гнался за тобой и споткнулся у постели, не достал... сегодня ещё не достал.

А уж завтра непременно!

Завтра не выжить.

Ни за что!

Просто потому, что уже нечем выживать. (Ротное зеркало давно не показывало моих признаков. Незнакомый заморыш останавливался на мгновение и пытливо высматривал в этом окне явно кого-то другого.)

...несколько секунд... первых, после шестнадцати часов непрерывного держания за глотку, плевкового мата, истязательных команд, ожидания почты и такого же судорожного туалетного прочита под аккомпанемент писающих в соседних кабинах...

...несколько секунд не совсем выключенного света и не совсем выключенного звука, которые казались длинной междукоечной дордой совсем выключенного света и совсем выключенного звука...

...несколько... ну, может, с пол-минуты... перед тем как крышка плотно ляжет, запечатав прямоугольник жизни...

ч

у ть

ск р

ип

полунедовольство сетки

полуповорот

получеловек

...он пробовал изменить позу, но был отказан и в этом, наметив предполагавшуюся устроенность вывалившимся языком.

Кладбище ещё раз-другой ёрзнуло, поправляя неплотно севшие крышки.

Уже через три минуты – сплошной базальт.

Руки и ноги торчат.

Иглы – из венца.

Это навсегда, здесь нет перспективы движения.

Камень.

И только у тумбочки дневального маялась бессонной дурью сержантская надежда на подъем, на грядущее шестнадцатичасовое властие. Они имели способы на роту и думали, что нашли способ и на нас. Да мы и сами думали, но.... эта зима, так медленно переставлявшая лапами, вдруг выпятила волчью челюсть и даровала нам спасение.

Замполит части вошёл в расположение роты, короткой отмашкой руки перечеркнул рапорт подскочившего дежурного и не задержавшись прошёл в канцелярию.

Ещё через минуту оттуда выглянула заточенная физиономия Смолина:

“Дежурный! Курсанта Левит-Броуна в канцелярию!”

Я был близко... почувствовал удачу как-то животом.

...канцелярия... канцелярия!..

“Вы почему, товарищ курсант, не выполняете?..”

“Товарищ капитан, мы же... нас же в наряд, и...”

Оврученко коротко глянул в Смолина, но тот уже имел белый кончик носа:

“Личный состав – товарищ капитан!... гарнизонный наряд, некого ставить... караул через сутки, сами знаете – две роты в батальоне...”

Замполитная челюсть как-то очень чётко очертила себя, а сбивчивость Смолина вообще осталась без прицела.

“Заниматься каждый день. К февралю чтоб иметь мне программу на конкурс армейской самодеятельности. Двадцать третьего – комиссия политотдела дивизии. Отчётный смотр. Сейчас собрать всех, кто вам необходим из двух рот. (...почему он обратился ко мне? Лысина, что ли, сработала? А то презрительное..... тогда в штабе? То презрительное – “каптёр”...?)

“Вопросы есть?” – челюсть напоминала выдвинутый ящик письменного стола.

Бельма Смолина исчезли в туманах очков.

“Всё... свободны, товарищ курсант!”

Его глаза хитро посмеивались над моим готовым лопнуть счастьем.

Р-р-р-асс, два!

Я очень строевито вышел, едва держа равновесие под ударами сердца.

Хлёстко затворенная дверь проглотила ошмёток совсем другого тона: “Так вот, товарищ лейтен.....”

Вдруг и окончательно раскололась наша армейская судьба.

И моя, и их, которых мне довелось принять в свои музыкальные объятия за два отмученных года.

Она раскололась на повседневную гибель и спасение, на долгие взводные дороги и уединённые часы в нежном кругу за проволокой облюбованной оружейки.

Мы собрались, еще не веря, после двухнедельной кары.

Нас было четверо: Юрина потухшая скула, сопливые беньки Шурика

Сторонина, бритый испуг свердловского пианиста Литвинова и моя

ответственная лысина, не нуждавшаяся уже почти в бритье.

Она приняла как-то сразу эту ответственность.

Прямо с подноса выдвинутой челюсти.

Что пролегло между веселым хищником-замполитом и затравленным еврейским курсантом-дохликом?...

Но приходил он теперь словно бы проверить лично меня, мою добросовестную отплату за соломинку, кинутую в уже было засосавший нас водоворот армейского сливного устройства.

“Занимаетесь?”

Я чувствовал, что чёрствость даётся ему с трудом, и моя душа благодарила эту неспособность зверя поладить с собственной добротой. Через стиснутые челюсти коротышки-самоутвержденца в капитанском платье, я видел чертёж улыбки. Он нагонял нас за беспорядок, иногда требовал продемонстрировать нашу изготровку. Мы играли ему наскоро поджаренную патриотику, которую презирали и благословляли. Он уходил с криком одобрения: “Хорошо... занимайтесь!”

Может, его разжижал мой голос, под обаянием которого не должна была устоять ни одна, хотя устояли все.

Я пел “безымянную высоту”, пел “как поют дрозды” (не я – как дрозды, а песня такая), и, думаю, если он оттаивал, то не зря, потому что в наших диких спевках посреди сапожного инферно я узнал каким-то непонятным способом, что «у незнакомого колодца на безымянной высоте» могло..... действительно могло произойти что-то... что-то очень важное, не только без оглядки на мавзолей, но и без оглядки внутрь окровавленного х/б.

Что-то...н-не знаю....

...окурок на четверых?

...разыгранная в чмэн граната и место под танком?

...последний грубый мужской анекдот или нежное воспоминание обо всём том, ради чего ты роешь лицом землю, ожидая и стараясь отложить хоть до завтра предназначенную тебе пулю, стараясь успеть уложить в твою невинную землю хотя бы ещё пару сытых немецких шинелей... вмуровать их в бесконечный и страшный подъём, как ещё две ступеньки к победе?

...стойка у пулемета в мёртвом виде и долго ещё после того, как погасла ракета, скомандовавшая никого не интересующее отступление?

(не потому что уже некому, а потому, что никто и не собирался отступить).

Наша армейская судьба раскололась и в ней образовалась клетка, где мы могли затихнуть, ударить в родные мембраны, перебрать любимые струны. А внутри этой клетки образовалась ещё маленькая коробочка.

Туда я складывал волшебные письма, которые мне было теперь где и когда перечитывать. Эта коробочка нашла себе место в мём сапожном инферно.

Она прожила со мною два года и сберегла листопад, осыпаемый ныне фанерными антресолями на виноватую мою голову. И чтобы застраховать себя от нежданной осени, я прячу в целофан шуршащую грудку. Странно, что можно спрятать в пакет всю эту взрывающуюся жизнь...

Не оглядывайся, не вслушивайся... она и так проступает миллионами колких букв.

.....навсегда!

Навсегда живые и произносимые.

Навсегда задавшие вопрос.
Но это же было... было?
Что сделать, чтобы опровергнуть временность,
ушедшее?
Хранить в памяти?
Или просто не лечить рану... пусть напоминает болью.
В той жизни было только самое необходимое.
А коробочка выжила.
Выжила, чтобы теперь лежать опечатанным
листопадом?
Да?
Какой, к чёрту, испуг, когда вина так абсолютна! Что –
всё твоё нытьё, что – все порезы души, если ты всё
равно сказал ей, в конце концов: “Я уйду от тебя!”
Ныл, скитался в канализациях безвыходности, а всё-таки
сказал...
А потом вечера, вечера... приходи к ней в уже покинутый
дом, возня мелких ругательств. Ее озлобленность и твоя
подлая способность быть справедливым, даже если
больнее себе.
Ты возражал в сузившиеся глаза, ты возражал и
огрызался до тех пор, пока на её побагровевшее лицо не
приходили болезненные слёзы.
А сколько счастливых слёз ты видел на этом лице, а
сколько мучительных слёз непонимания и страха, когда
кончилось счастье. И вот теперь эти болезненные,
отчаянные... от незаслуженной обиды, даже если она и
заслужена.
И сгусток молчания, потому что все решения уже позади.
И нет прощения – только обида, как у ребёнка.
Не прощают из слабости... только требуют.
И плачут.
Или молчат с налитыми глазами.
Вот тебе твоя сила. И вексель с непроставленной
суммой – плати...
И ещё листопад в целофановом кульке.
Если забудешь... он тебе обсыплется.
Зачем ты хранишь его?
Для литературы? Или чтоб кому-то... что этого не
может быть.
Чего?
Чтобы такое было и потом, вдруг, этого, как бы, не
было?
Или – в прошлом?
А может ты просто ещё не разобрался?
Или не согласен?
Ты протестуешь?
Ты не можешь спокойно стоять под дождём из шести
сотен исписанных страниц?
Угомонись. Стой спокойно. Вот тебе твоя антресоль, и
не надо так много вопросов.

*Отдавленная кошка воет, и не надо разбираться.
Надо слушать.*

* * *

Однако, если тебе улыбнулась возвращенная жизнь...

Нам была возвращена.

В ежедневном грохоте безысходности мы имели теперь надежду отыскать смысл тишины и дружеского общения.

Мы заглянули в лица друг друга.

Мы увидели ужас.

Только теперь, вынырнув головами в неожиданную прорубь, мы поняли по лицам друг друга, что с нами случилось.

Поняли и сохранили трепетное молчание, чтобы разоблачительным словом не спугнуть, не сдунуть дарованную милость.

Иной звук приобрели теперь и страшные подъемы, и зарядки в заметённой мгле, и долгие взводные пути к местам назначенных ладоней. Даже падая в снег тактических занятий, даже обрезанные командой: "Внимание рота... встать!", мы жили над недоеденными тарелками совсем другой, избранной жизнью. Мы знали – минут часы насилия и мы сойдёмся в отведённом вольере, чтобы там жить, играть и говорить спокойно, а не запыханными сопливыми междометиями кросса.

Готовилась патриотическая баланда для замполитского престижа, но были и просто минуты стояния. Они курили с общительностью юношеского веселья, вымахивали щенячи хвосты в короткой зарешёченной свободе оружейки, а я стоял, улыбаясь в окно.

Я не курил ещё тогда и имел минуту для изучения пепельной бесконечности Дальнего Востока. Я улыбался собственной боли, которую мог теперь спокойно распробовать. Она была круглая, но с болезненным остриём, торчащим внутрь х/б сквозь толстую наледь стекла.

Я подсчитывал свои сроки.

Они казались мне вечными.

Два года – чудовище впереди.

Настолько страшное своими размерами, что его даже опасаться было не нужно.

Оно просто лежало за окном непричёсанной головой в снег.

Оно просто не видело меня.

Опасаться было не нужно и надеяться было не на что.

Иногда мы устраивали чумной пир на общую нашу курсантскую зарплату.

Три восемьдесят – на лицо в месяц – это ж целый разврат.

То есть... по рублю с лица – это четыре, и туда влазит две банки сгущенки, две пачки сливочного масла, лимонады, сайки и коробка щуки в чужом соку.

А полпачки масла на сайку, всё-таки, можно уместить.

И пустить по кругу банку мира.

Мне было весело и омерзительно смотреть, как они едят, надрывая рот, потому что я и сам так ел.

Пихал, глядя в них как в отражения.

Это было больше, чем голод.

Это была тоска по свободе.

Крошки застревали в зимних наших шапках.

А потом мы спали по очереди в оружейном шкафу, предварительно простелив бушлатами. Мне было меньше всех места, но закрывавшаяся снаружи створчатая темнота и нежданно постигавшее одиночество глаз были таким блаженством, которое легко извиняло самому себе позу зародыша. Радиоузел подарил нам ужасный проигрыватель. На нём мы слушали пластинки, привозимые из Хабаровска сержантом Ванюшиным, который был нашим пятым, вхожим в штаб, нарочным замполита, единственным «вольным» в нашей невольничьей гурьбе.

Он изредка заходил к нам и брал в руки гитару, которой, в сущности, владел дворово.

Он приносил нам письма.

Он приносил мне письма, потому что мальчикам писали значительно реже, чем каждый день.

И сидела у вертящейся пластинки крепостная братия, и питала свои гражданские думы, а за окном непричёсанной головой в снег медленно лежало двухлетнее чудовище, которое не помнило себя и не замечало нас. Звенели «Скальды» простыми гармониями, мучили нашу память и заставляли думать: было... было... потому что о тогдашнем теперешнем еще очень рано было думать – «*было*».

Потому что тогдашнее теперешнее лежало растрёпанной головой в снег.

Потому что оно измерялось несколькими часами дыхания между неизбежными занырываниями под ротный лёд.

Главное – не опоздать к вечерней поверке.

Это литургия армии.

Неявленный на поверку – уже, фактически, вне закона.

(Самоволка, или что...).

Опоздавший по нерасторопности – оскорбитель высокого старшинского ритуала.

И уж не ждать тогда пощады.

Выкрикнутая фамилия должна быть отвечена.

Заснувший в строю птенец получает свою зуботычину через ряд.

Старшина не подходит.

Исполняет кулак замкомвзвода.

Поверка выравнивала всех.

Даже «вольный» сержант Ванюшин нехотя идти был должен. Ему не угрожал, правда, кулак замкомвзвода. Нерентабельно бить об метр девяносто татарского происхождения.

Но был должен.

Это – поверка.

Ванюшин нехотя шёл, а мы на поверку бежали.

И знали страх, а всё ж досиживали в своём вольере до последка.

А потом бежали и вскакивали в строящуюся на две шеренги казарму,
вныривали в злобно косящие взводы.
“Прибежали, дармоеды... вашу мать...”
Тихонький был шёпот.
Любящий.
Мы стояли смирно.
То есть, глядя перед собой.
То есть – ни на кого.
“Курсант Ерисов?”
“Есть!”
“Курсант Левит-Броун?”
“Есть!”
“Курсант Литвинов?”
“Есть!”
С перерывами выкрикивали нас.
С алфавитными цезурами.
Но мне это слышалось, как единое тройное обвинение, я ждал его и гас только
после последнего “есть”, хоть и знал, что все мы на месте.
Сторонина с Ванюшиным выкрикивали внизу, в казарме второй роты.

А дальше всё, как ни странно, зависело от телевизора.
Если кино, сержанты спешили «отбить» нас и усесться культурной кучкой под
этот рентген.
Ящик бормотал.
Иногда всхлипывал, орал или стрелял поочередно из шмайсера и одиночными
из пистолета последнего политрука.
Иногда шептался и затихал в видеоряде поцелуя.
(Если не про войну.)
Примерно через сорок минут приходил дежурный по части, проверить отбой.
Он, как правило, прерывал это облечение, но, порой, когда уж больно лихо
стреляли, сам присаживался под вредные лучи.
Нам это было всё равно.
Мы спали.
И не знали, что сержантам, которые сейчас или через час лягут в скрипучие
свои сети, будет сниться то же самое, что и нам, и «вольному» сержанту
Ванюшину.

* * *

Мне надо ближе к весне.

Спешить, пожалуй.....
И разнудать повествование, в котором умирает проза.
Долго что-то умирает.
Ведь трескающийся алмаз не станет ждать, он треснет.
Спешить.....
А что толку спешить, если всё равно идёшь?

Бежать?

Но ведь и это – по земле.

По земле таёжной бежал мой батальон.

Окаянство патриотической закалки взметнуло флаг свой пыточный, и батальон побежал, начиная стройной гусеницей, чтобы закончить размазанным пятном.

Я видел из окна оружейки.

А потом я спрятался в шкаф и просидел там без сна, раскаянный о совершенной трусости.

Они все побежали.

Даже испуганный Литвинов.

Я мог бы легко утешить себя иллюзией протеста.

Нет, не мог.

Так не протестуют.

В шкафу не протестуют.

Протестуют на плацу честным отказом и..... принимают все возможные последствия... даже сержантские кулаки.

Кстати, о последствиях я мучительно предчувствовал.

Господи, что они от меня хотят?

Я не могу бежать и не могу принять наказания, я не выполнен для неудобств, для труда...

А кто?

Не знаю... я не знаю... только оставьте меня в покое!

Мне надо ближе к весне.

Пропуская, минуя... презрительно не замечая исписанные поля снегов.

Ближе к весне... к совершению смысла, к зоне поправимых нелепостей.

Всё в чувствах так невероятно сближено... а на шкуре той первой зимы – продавленные колеи одинаковых дней.

Замполита мы не посрамили.

Мы сотворили такое!.....

Я и играл там, и пел, и читал в убогий микрофон всё больное за Родину, сошедшую с ума не только от множественных ран последней войны, но и от себя самой, так и не знающей отчего эта ужасная судьба.

Может, именно это и имел в виду капитан Оврученко, когда обратился ко мне, когда обозначил требование лично к моей лысине?

Может, это означало доверие?

Перед комиссией политотдела возник плотный коллектив, знавший как звучать. Мне повезло на ребят. Шурик Сторонин оказался божьим музыкантом. Но и Юра, и Литвинов, хоть и не божьи, были отлично на местах.

Та моя шкафная трусость проехала как-то странно тихо.

Было бы преувеличением думать, что растерзанная марш-броском рота просто не заметила моего отсутствия на марше.

Но мне ничего не сказали. Только отдали зеленью смолинские очки, да еще взводные соседи смотрели мимо. Видимо, что-то пыталось быть наказательно предпринято, но было остановлено чьей-то волей.

Хуже всего было встретиться с глазами старшего лейтенанта Клинова.

Ротный замполит единственный вызвал меня на совестный разговор.

И смотрел в пол.
И разговор вышел короткий.
Он задал вопрос “почему?” и не дал мне ответить.
Пожалел.
Не допустил до мерзости уловок.
“Они все не могут” – сказал он – “нельзя так!...”
А больше никто ничего не сказал.
И ребята мои, музыканты, – не сказали.
Они, видимо, уже почувствовали, что меня осенила тень выдвинутой челюсти,
и приняли как должное.

...Господи, Господи... как тяжела изведенная тьма!

Да.

...какими спорами с душой!

Да.

...и самым страшным... покаянием назад. Двойным – за то, что было *тогда* темно... что радость избежанного нагло произрастала на растлении совести... и за то, что *теперь* темно, когда в уюте воспоминания уже не угрожает старое трудное!

Да.

...может, потому и темно теперь, что предрешённая безопасность допускает раскаяние – эту не слишком высокую плату?

Да.

...а может всё это рисование нарывающей совести – рисовка, притворная графика? Может всегда зналось, что подлость – не подлость, а сохранение внутренней правды? И если это зналось, то почему? Потому что не было совести, или потому что была?

Да.

... если раскрошить себя на ладони, как сохлый грунт... распорщить и сдунуть, останется ли лежать обугленный гвоздик? И как он будет называться: совесть или вина?

Да.

...Господи, Господи... тебе ведомо это настроение, когда упрекаешь себя во всём, *ясно* ощущая, что нету вины,... и это «ясно» – лишь ещё один довесок к упрёку!

Да.....надо ближе к весне.

.... надо ближе.

Оторваться и лететь, покидая умирающую прозу.

Но и летя, всё равно видеть.

Видеть: бритые головы несчастных моих ребят, рублю дров по ночному морозу, кухню солдатскую – вечный ужас курсантского житья, потому что не было ничего невозможнее, чем выбрать тряпками два сорокалитровых бачка воды, назидательно вылитых на каменный пол без стоков. И ведь ходили на кухню не в наказание, а по гарнизонному наряду.

Всё... всё становилось наказанием в руках сержантов, которые были всего лишь бывшими курсантами, на которых больно наступили предыдущие, которых и самих обидел кто-то, уже давно отсыпавший на гражданке.

Кто-то, кого уже вернули бьющейся маме.

Но ведь колесо мам так же непрерывно, как и конвейер отдаваемых. Кому-то уже разжали желудочную судорогу двухлетней выдержки, кто-то уже обмякла, повиснув на красном от погона плече, а кто-то ещё только стоит за забором, ломая пальцы о носовой платок, ломая взгляд об удаляющийся ватник. Это – по краям.

А что в середине, когда бродит двухлетний яд?

Интересно, что снится маме, пока её сына учебно бьют в туалете собирающиеся на дембель обиженные. Двадцатилетние «дедушки» отдают последние долги сапогами. Передают эстафету звериных глаз.

И будет он смывать из-под носа переходящий красный вымпел, и будет рассматривать себя в умывальном зеркале глазами, в которых уже проклюнулись две тоненькие зверинки.

Интересно, что снится маме?

Что ей приснится?

Вот он вышел в дальневосточное.

Он сполз, размазав по подушке несмываемый сон.

В пятичасовье задудой ветром тайги.

*С ним ещё десять нарядных в землистых рубахах и лицах.
Это спецовки.*

*Одиннадцать грязных пятен шатаются в направлении
кухни.*

Кухня дымит предстоящим завтраком.

Сизые в морозе, они не испытывают холода.

*Спят на шатающемся ходу, растягивая резиновыми
секундами куцые четыре часа отдыхающей смены.*

Входят в горячую кухню.

*Забиваются в углы и там пытаются соскоблить с
жирных стен ещё хоть минуту сна.*

*Некоторые спотыкаются при входе и въезжают на
животах.*

Пол всегда скользит.

Посудомойка шипит.

Кипяток.

Пар.

В расслабляющем горячѐ сон становится беспощадным.

Они тыкаются в клубящееся красными глазами.

Что ей снится?

И как долететь до весны?

Начистоту?

А вот просто взять и долететь!

Без самобичевания.

Слишком позднее чаяние чужих бед – притворная графика.

Наш батальон наклоняло к востоку.

Смеш!

Чтоб на Дальнем Востоке заваливаться на восток.

В гололёд мы скользили навстречу восходам.

И если ты ещё не оставил меня, мой глупый читатель, то не оскользни хоть на риторике.

Устой.

Слишком позднее чаяние бед... да ещё и чужих.

Притворная графика.

Никогда я честно не сочувствовал никому.

И глаза старшего лейтенанта Клинова не болели мне.

И шатающийся кухонный наряд в стеклянной стуже мне не болел.

И упрёки себе за нечувствие вины – это не тяжесть.

И не совесть....

И не разборы с душой.

Это даже не упрёки.

Это просто неизбежная условная вопросительность самодialogа.

А в жизни моей и был только самодialog.

И – только видение собственных бед, и – только выживание в собственных экстремах. Но из той же самой условной вопросительности я предполагаю, что эта закрытость для всех человеческих жалостей означала прямой провод.

Когда уже говоришь, поздно сообщать телефонисткам, что ты хотел сказать и кому..... ты ж уже говоришь!

Ответственность прямой связи.

Может быть, она достаточно велика, чтоб оправдать то, что не нуждается в оправдании: незамеченность человечества, безразличие к гибнущему рядом... циничное самовыгораживание. Разве это нуждается в оправдании? Это ж прямая связь! Минута стоит – ...не расплатишься! Если начнёшь тут кого-то из-подо льда вытаскивать, пропало... считай – ничего не успел.

А разъединят – всё.

Потом жди...

Я взялся писать про армию, не видя и близко ничьих бед, кроме своих.

И смысл я знаю только свой и больше ничей.

Вот это и будет моя правда без риторики.

Заходишь в бытовку, а там дембеля на столах сидят – гитару ротную мучают: *“снова белый пух возле тополей кружится”... “но не дождалась, но не дождалась ты меня”...* Два или три раза я видел, как они получали сообщения о неудержавшихся свадьбах своих невест. Тогда в бытовке образовывалась кучка... заживительный кокон, облепленный бестолкового с бутылкой внутри. Кокон хмуро жужжал, кого-то кривило горькой улыбкой от потревоженной собственной раны.

Ведь многих не дождалось.

Нервные какие-то невесты.

А потом кокон разрывало накопившимся рыданием, оттуда выбрасывало пьяного расстёгнутого «дедушку»... и шатался он по казарме, и материл нехорошо всё женское, и кричал внутренним криком, и бил в морду прохожего курсанта, и кричал уже от двух страданий сразу, от предательства и от зверства, от бесчестной боли, причинённой ему, и от бесчестной боли, причинённой им самим меньшому и зависимому. И крутили друзья «дедушку», заблудившегося в горькой обиде, и слагали заботливо на дальнем углу, где скорей не заметит дежурный офицер. И шли в бытовку, и сидели там на столах, искренне терзая инструмент, а он спал, расслапанный и укрытый, и... за окном уже кропило весной.

Не со мной... не со мной всё это!

Но теперь, изрядно разбухший от тридцати восьми вёсен, я понимаю, что и те мальчишки в землястых рубахах и лицах, и раненый рёв кем-то подбитого дембеля, и батальонный бег по заточенному морозом полотну шоссе – всё это было где-то совсем рядом.

Настолько... до такой оскорбительной степени рядом, что уже, как-будто бы со мной, или, во всяком случае, не далее чем из-под кровати.

Да, всё происходило из-под кровати... тихое царапанье жизни под самым матрацем... и весна, которой уже кропило над ухом, и детский вяк с места ночного горшка: “Баб Маля... баб Маля!”

* * *

Но её уже вынесли.

А потом только убрали горшок.

Вынесли съеденную мышь.

Сухая отплевка великого марша в светлое, и...

... одной горкой больше на рабочем погосте.

* * *

То есть, всё происходило без меня.

Да, так будет правильно.

Со мной происходило, но без меня.

Имеющий смысл не участвует в окружающем.

Он участвует в смысле.

А окружающее царапается под самым матрацем.

Оно доходит, но не входит.

Смысл выталкивает изнутри.

Я достигал весны, потому что сразу за ней ожидалось начало лета, время свершения смысла, час поправимых нелепостей.

А сколько ужаса в гортани!

В какой-то момент мне стало легче предполагать непоправимость, чем ожидать невыносимого свершения.

Увидеть её живую и тёплую после всей взрывающейся жизни, сложенной в коробочку за семь месяцев ежедневной, ежечасной разлуки – нет невозможно...

непоправимость невыносимость невозможность

и..... невозможность представить, что этого может не быть.

А она готовила приезд, выбирала письмами длинный линь времени, на конце которого я болтался загарпуненной живностью. Я не мог двигаться, я не мог ничего решить. Я пытался в отчаянном извороте перекусить линь... уговаривал её, что это нет... это не может... нельзя... Я просто отчетливо понимал, что погибну в обоих случаях.

О, Господи... это было целое несчастье!

Вообразить её, прошедшую весь путь в мой сапожный инферно... восемь суток в поездах...

И ради каких-то двух дней чумы...

Сколь неуместимо то, что должно излиться из нас!

... сколь неуместимо в эти предвидимые два дня чумы!.....

Я достигал весны, моргая ей навстречу ресницами зябкого страха.

И малодушничал, как всегда.

Писал ей, что всё невероятно сложно, что впереди конец учебки и неизвестность, что военному положено только двое суток увольнения по приезду жены, что... что, я не знаю что... что меня ненавидит ротное начальство, что.... изгадить... всё...они.....

они изгадят..... что на замполита надежд мало... что он не станет подставлять себя под риск откровенного нарушения воинских прав и правил.

Я малодушничал...

Как всегда.

Страх перед трудностями реальной жизни готов был победить во мне жажду жизни.

А она не слышала ничего.

Только отвечала, что всё равно..... что никакое её не удержит..... что она найдет меня, что мы будем вместе!

... мы будем?

... мы вместе?...

Стон молитвы, выдыхаемой моими разодранными сомнением легкими, заклинал окружающего меня жестокого бога сжалиться и не допустить совершения смысла, а.....

...а вы бились когда-нибудь головой о близкие стены туалета?

Я тоже нет.

Чего ж ты боялся, маленький?

Чумного бубона свидания?

Возмущения армии?

Внезапной беззащитности перед любым офицерским падлой, когда настанет момент идти просить, чтоб отпустили на ночь?

Целого дня... каждого дня, всей глухотой и слепотой направленного в проём вечернего КПП, если «разрешат» пойти на ночь?

А если не «разрешат?»

Нет..... не станет легче.....

И не помогут – не надейся – близкие стены туалета.

Но зачем же ты так воспитываешь, жизнь?

*Рабами нас ставишь собственного страха.
Ты так оглушаешь испугом, так измельчаешь в труху,
что мы начинаем желать не тебя, а продолжения
безжизния, (лучше привычный вертел – чем усилие
вырвать его из онемевших от боли кишок).*

Ну, естественно, я боялся всего!
Всего, чему и суждено было сбыться.
И чумного бубона свидания, и внезапной беззащитности, и глухоты-слепоты
целого каждого дня, и проёма вечернего КПП.
Дальний Восток лежал плоско под и над, сделав из меня бутерброд.
Бутерброд со страхом.
Я оскальзывал.... я скользил к восходам.....
..... промокшими сапогами по весенним соплям.

* * *

Кроме музыкальной ответственности обозначилась и моя фотонужность.
Таким образом, я втиснулся еще глубже под балкон выдвинутой челюсти.
Надо мной почти не капало.
Замполит довольно часто обременял поручениями сфотографировать и
представить снимки, а под это я получал внутрибатальонные увольнения в
тишину радиоузла, куда лишь изредка наведывался «вольный» сержант
Ванюшин, а остальное.....
.....остальное была сказочная отгороженность от всего условиями
фотолабораторного процесса. Зашторенность до черноты и обеззвученность
со стороны ротных маршей толщиной тех же самых штор. Только изнутри, со
стороны штабного коридора, слышались индивидуальные и довольно редкие
сапоги. Вход я мог запретить даже замполиту... даже комдиву.... даже
главнок..... ну отсрочить, во всяком случае, под солидным
предлогом: “Осторожно! Идет проявка!”, либо: “Осторожно! Засветите бумагу!”
В этой черноте я частенько получал часы дополнительной забытости, не
только от взводного свинства и труда, но даже от музыкальных ребят.
Беспомощно говорить теперь об этом блаженстве.
Не понять сладости из водопровода.
А тогда...о, как сладки были скудные капли одиночества!
Я растягивал на часы пустячную работу и сидел.... сидел тихим болваном,
просто сидел, краснея в свете фонаря.
В один из «первых раз», когда я еще должен был доказывать замполиту, что
действительно ему нужен, я стал невольной причиной взводной беды.
“Я сказал, отбой!”
“Но, товарищ сержант, мне...”
“Я, блядь, сказал – отбой! Вам что, курсант Левит-Броун, не ясна команда?”
“Но, товарищ сержант, капитан Оврученко распорядился отпустить меня после
отбоя в штаб. Ему на завтра нужны фотографии строевого смотра”.
“А я сказал – отбой!”

“Нет, товарищ сержант. Я выполню приказание старшего по званию. Мне велено идти в штаб работать”.

В догонку послышалось неуверенное и злобное: “Товарищ курсант, отбой...”
Моя спина выжидала последствий, но, видимо, ему не уверилось вступить в заочный спор с замполитом части. А злобу смирить тоже нельзя было. Спина моя не дождалась пинка, но уши застали, минуя ворчащую дверь: “Та-а-а-к, второй взвод! Подъём!”

Меня подхватило сквозной опрометью.

Но я уже понимал, спасительно защёлкивая за собой дверь радиоузла, что взвод будет казнён.

Казнён за меня, за командирскую неудачу со мной.

Это было ещё в самую зиму.

Сержант Рыбаков.

Мальчик-садист с кумачовым лицом.

Вскоре после этого он и сержант Пробст избили курсанта Субботина зачехлёнными штык-ножами и были, наконец, устранены из учебки за явным перебором наставнической старательности.

* * *

Вообще-то, если прислушаться, можно ещё...

Только надо хорошо прислушаться.

И тогда каким-нибудь реликтовым эхом обозначится трудная работа молотка.

Но до того, как смешать языки, ОН позаботился о звучаниях, выпевающих смысл.

Если не смысл Творения, так хоть смысл трагический пути.

“Не стройте до небес!”... и смешал языки.

Но оставил в стихиях зашумленные звуки, сипящие откровения, вытянутую ветрами по горизонтали правду.

Смешал, скрыл истину заглавных букв, тихо надсмеялся над алфавитами.

И вытянутая по горизонтали правда стала правдой искупления в пути, а смысл искупления – это

бестолковые поиски того, что давно держишь в руках, что давно произносишь... даже если на разных языках.

Смысл искупления - это хождение по шахматной доске со всех фигур, кроме той, которая сдерживает в силуэте победу, а стоит незамеченной пешкой.

Рокирована до полной забытости.

Вынесена в конец.

Ведь что такое – предыстория?

Это когда совершается то, что до Начала.

Это когда то, что в самом конце, будет Началом.

Станет Началом.

*И значит всё в порядке, значит “жизнь не напутала”,
значит – ура! последней букве алфавита.
ЕГО откровения влиты в звучания, а звучания хрипнут в
стихиях, растянутые по горизонтали пути.
Они есть путь.
По ним идут.
Идут, искупительно не слыша интонации смысла.
По смыслу нельзя идти, смысла нет под ногами.
Лишь пепел смешавшихся языков, лишь предыстория, то
есть заглавные буквы, вынесенные в конец.*

*Но ИМ звучания не для того предпосланы, чтоб стыть
брусчаткой крестного пути. Они щупают смысл, они
ищут созвучия, и потому в творческом сне нам бывает
дано ослепляющее мгновение ...касание ... зрение
потенциальной гармонии... как бы короткое
соприсутствие ЕГО поэтическому усилию найти
предельную консонансность...
МЕССИЯ – так было нужно, так оказалось жертвенно
необходимо, так было влито еврейским сипом ветров в
греческую догадку.
Смысл полетел, растянутый тяготой искупления,
потек, полетел... затосковал, как всё тоскует...
затосковал... взыскал созвучия... своего другого...
рифмы...
И ОН не справился... не нашел лучше ИУДЕИ... и сам
удивился своей неудаче.
Сложная музыка этой неточности застыла в ушах
искупающего человечества, застыла отяжелевшей
конкретностью Распятия и вечного еврейского клейма.
ОН не достиг полного консонанса и оставил себе надежду
на второе пришествие.
Мистралями и сияниями...
.....и чем только не обернулась эта память
творческой незавершенности!
... верхними регистрами поющих снегов над всеми
шапками земли...
...и подзаборной поземкой...
.....ш-ш-шипением горячего источника где-то на краю
этого неяркого света...
.....и даже позорным словом компромисс-с-
С.....*

*Трагическая память ЕГО неудачи вздыхала грудью
искупающего мира: м-м-е-с-с-сия.
И умной повадкой вслед: и-у-у-дея...
Вслед и кольцеобразно в обхват, в мучительный обхват
неправильной, не согласившей музыку попыткой.
И творческий ступор над недописанной фреской
искупления, перебирание народов на кровавой палитре,*

неудачные мазки, которые потом стирать вместе со всем... нет, нет... это не так...

...это... это искание чистого консонанса, который безоговорочно ляжет на бумагу.

Без оговорочно,

без рассудочно,

- без гуманистических латинских вер,

без германства палаческих сантиментов,

без голого галльства,

без горьких глин англиканства...

- безоговорочно ляжет в поэтический ряд, на лист... как на крест лежащий.

Ведь на крест не восходят... на него ложатся, потому что прибывать удобнее к лежащему кресту.

Нет-нет, я вас уверяю!... если хорошенько прислушаться, то ещё можно расслышать трудную работу молотка...

Да, это искание... поэтическое размышление на века, с невысказанной надеждой на отсрочку и обреченностью найти в конце концов этот совершеннейший бесповоротный консонанс, этого другого...

Найти и сделать невозможной разницу между ними, вписать в строчку Творения и осудить на неразличимость в звучании и судьбе.

...прислушаться...

Если постулированная нам ортодоксия хоть что-то знает о НЁМ, тогда приходится допустить третье пришествие.

Ибо уже пришёл второй, но, как и первый, – не судить.

И даже не быть распятым.

Пришёл быть бесконечно распинаемым.

Не человеком пришел... народом.

Как консонансно: МЕССИЯ – РОССИЯ!

Какое совершенство завершения, какое торжество поэтического вдохновения.

После стольких трудов.

Да, видно быть ещё одному, потому что второй... как и первый, пришёл не судить.

И даже не быть распятым.

И даже не человеком, хотя и помазанным чадом ЕГО.

Пришёл громадой северного полумира.

Пришёл из лесов, где каждая осина раз-в-пять...

С молотком и коробкой гвоздей.

Пришёл и взял на себя.

А теперь поздно!

Поздно любить мир, в котором всё, вероятно, было с самого начала

поздно.

Поздно теперь любить.

Не хочу!

Философствовать о праве заглавных букв... намекать на самораспятие великого народа, на его мессианство, утянувшее за собой.....

Не хочу!

Когда раскопают этот могильник, там найдут русскую соху, бухарскую чадру, черепки Самарканда, армянскую книгу и истлевшие кожи якутских упряжек...

И станет понятным это коллективное самоубийство...

...чтоб ярче скалилось лицо жертвенного костра, в котором горит полено креста с прибитым...

..... прибившим себя самого...

...да, пусть ярче...

...пусть тлеет северная пушистая псина... пусть корчит армянскую букву Маштоца... пусть пепел рассыпавшейся половины облетит на седую от ясности голову другой... пусть станет понятна трагедия...

...благословен юродивый, утоливший жажду красной водой...

...прощён прибивший себя к кресту...

...прощён и возблагодарён за назидание...

...это не суд ЕГО над нами... это ещё одна жертва... это жертва русской душой... как когда-то телом Христовым... это цена продолжающегося Творения...

А любить уже теперь поздно.

Поздно любить.

Теперь стерпеть только... и как-то сконцентрироваться на бледном голосе горизонта, чтобы отстать ушами от этой трудной работы.

Нельзя же вечно слушать, как прибывают...

Жертва – это всегда собой.

Не бывает напрасных.

* * *

Чего ж ты боялся, маленький?

..... бубона свидания?

.....промоглой сырости сердца, размокшего в лужах весны?

И не справлялся с трусливым...

Ладно... не стоит слюнявить, стоит вспомнить.

Штаб.

Тихий ковёр второго этажа.

Знамя в застеклённом саркофаге.

Такой алтарь имеется в каждой части, и около него кто-то с автоматом постоянно дежурит.

Мой автомат наваливает ремнём на сержантские лычки.

На лестницах громко:

“...да потому что вы, товарищ лейтенант – лейтенант, а я – майор!”

Это Бурда – зам. по тылу.

Вот он идет мимо меня, толкая воздух брюхом.

Румяный от неостывшего крика.

Бахнул дверью и тут же бахнул ещё раз.

Выходя.

Не глядя вонзил ключ.

И ошпарил меня, протопав мимо другой красной щекой.

Майор Бурда.

Уже долистано до сержантства.

И до весны долистано, и до сержантства, и стоит только выйти из штаба, чтобы между тобою и смыслом осталось двести асфальтовых метров.

Асфальтовых – за угол и по прямой.

Я так рвался ближе к весне.

...о фаусты, вызывающие духа в надежде, что он не явится!... ...явится, явится...

Явка обязательна.

Когда наступает час поправимых нелепостей, не являемся именно мы.

Или являемся, но в нас ничто не работает.

Как в телевизоре – ни выразить, ни изобразить.

Иди-иди... козырный!... счастливчик!...

Это они мне?

Со священного первого поста у саркофага меня снял кто-то из погодков.

Он появился на тихом ковре второго этажа один, без автомата, без разводящего очередной смены. В лице у него, пока он приближался, застряло очень хорошее, а когда дошёл, оно отворилось лепестками нескрываемой уже радости и сказало из небритых щёк: “Давай автомат... к тебе жена приехала”.

За угол и по прямой.

Двести метров асфальтового ужаса.

Словно к последней канаве ведут.

В штабных дверях я никого не встретил, но меня встретил Дальний, забрызганный майской слякотью. И я, наверно (подчеркиваю, – наверно!), подумал, что как же это... вот уже сейчас? И, наверно (подчеркиваю, – !)... что – я же совсем не готов...

Вместить в одну секунду встречи целую зиму накопившегося льда, всё это страшное, что произошло между нами в письмах.

*разбинтовать и подставить все раны сразу
вспыхнуть сразу всеми кострами ласковых кошмаров*

*разинуть все глотки рыданий
все хляби отверзнуть*

А майский день и так наплакался.

И небо что-то такое захотело сделать со мной, и оно это сделало, и это был колпак.

Или ладонь, наложенная на меня аккуратным куполом, так что игольчатая морось колола сзади и отодвигалась спереди, как-то смешно не нанося татуировку на мой новенький сержантский х/б, внутри которого съёжлось полугодовое нетерпение.

Уже долистано до сержантства.

Мой новенький сержантский х/б – это короткая история вопиющей несправедливости: наскоро и плохо сданные экзамены, честная ненависть офицеров, полное физическое несоответствие военно-спортивному духу учебного подразделения...

Это всё на одной.

А на другой – трезвая надобность замполита в удобном крепостном, играющем на барабанах, поющем и организующим лицевую самодеятельность батальона, а к тому же ещё и фотографирующем на мелкий презентный случай.

Другая перетянула.

Я остался ненужным сержантом, бесплатным навесом на запотевшие от ярости смолинские очки.

Старший лейтенант Клинов не одобрил своей детской душой торгового духа сделки между мной и Оврученко, но что мне был розовощёкий трёхзвёздный замполит роты, когда я удобно расположился под балконом четырёхзвёздной штабной челюсти. Расположился и остался ненужным сержантом, как был ненужным курсантом, как и вообще – ненужным патриотом.

Расположился, остался и пошёл в караул.

Сержантский караул – регулярная беда каждого очередного полугодия каждой учебки.

Вообще, караул – чуть ли не чудовищнейшее из армейских изобретений.

Уйти на сутки в зелёное помещенье из крашеной фанеры и там быть ввергнутым в жуткую противоестественную чехарду постов, бодрствующих и отдыхающих смен.

И в день и в ночь – ни дня ни ночи...

“Отдыхающая смена, подъём!” – острый, как сапожный нож, свет в тесной комнате, где ты слюняво забылся под плащпалаткой или бушлатом (если зима, то под бушлатом) на дощатых нарах, предназначенных не допустить слишком расслабляющего сна.

Да какой там!...

Всё равно ты упал в чёрную яму и пролежал там без всякой памяти, а теперь озираешься безглазо, автоматически подбирая руками нити изо рта.

И пьяно – к станку заряжать (это пристёгивать магазин к АКМу).

А зимой сначала пьяно заправляться в шинель, а потом пьяно заряжать, а потом волочиться за разводящим на пост. Охранять какую-то технику, или какой-то склад...

Господи!....пять часов таёжной ночи!

Вон оно – неприкосновенное лицо – часовой на посту, качающийся недобросовестным пугалом, потому что он, скорее всего, спит внутри обледенелого тулупа... нет, смотри ка ты... не спит... «стойктоидекает»... Кто-кто!!! Смена идекает!

И разматывают его из тулупа, и тулуп стоит рядом, пока разводящий меняет часового... и новый... новое неприкосновенное лицо уходит лицом в колючую от сосулек овчину и начинает качаться недобросовестно, пытаюсь раскатать и сдвинуть с места два световых часа, проклятые вместе с ним на этой защите вещевого склада, где кроме кирзы да зимних шапок восемьдесят четвёртого размера есть еще в достатке косоворотые гимнастёрки, недостреленные с прошлой войны.

Видимо, не предполагали за четыре года обернуться, и, видимо, предполагалось больше похоронок, а так как на каждую похоронку, минимум, по одному... то есть – гимнастёрке...

Вот и понашили.

А теперь образец устарел, и ты его охраняй!

И этот замк... который тоже озверел от ветра.

Его скважина – запекшийся рот, вертикальный от уже невозможности.

Все озверели от ветра со льдом.

И склад тоже.

Он освистывает окоченелыми углами никому не нужный пост и неприкосновенное лицо, которое имеет право стрельбы с упреждением, потому что часового на посту охраняет закон.

Да...охраняет закон!

Но не охраняет же от ветра!

От ветра не охраняет.

И от чёрной дыры двух световых часов – тоже нет.

А как их выжить?

Таскайся тут... качайся недобро... можешь попробовать уснуть, опершись на камень тулупа, обвиснув в нём изнутри...

А глядеть вслед отстоявшей смене?

И думать, что это ж ещё только всё начинается, что на процедуру смены болвана ушло всего несколько первых минут твоего бессрочного двухчасового качания.

Но сержантский караул страшней.

Оголённый медсанбат выслал на условную защиту своих рубежей сержантское племя, осиротевшее от расформированности учебных рот. Счастливые огольцы, сдавшие экзамены и получившие желтизну на погоны, покинули изуверский монастырёк, а палачи остались наедине друг с другом. Правда, каждые полгода наносят армии ещё и дембель, так что кого-то из палачей смывает в нереальную «гражданку», а на освободившиеся места младшего состава отсекают из очередной обоймы выпускников несколько самых разрывных патронов.

И после того, как разосланы по частям дальневосточного военного округа последние партии новеньких только что проэкзаменованных санинструкторов, в батальоне наступает краткий миг одиночества и самопожирания.

Сеньоры без вассалов, сутенёры без шлюх – вот что происходит.

Подлая нычка погонного равенства, как холерный вибрион, открывает пути обезвоживанию.

Прежде обильно смоченные безголосым повиновением курсантской толпы и относительно транквильные (хоть и с намеченной дистанцией в зависимости от срока), теперь взаимные отношения внутри младшего комсостава обезвоживаются.

Влага спущена... нет той податливой и рыхлой массы, в отношении которой все сержанты по-командирски равны. (Пятнадцать против стапятидесяти – это хорошо, это сближает, это отворяет широкие двери общего насилия в воспитательных целях).

Но некого больше воспитывать.

Только друг друга.

Не на ком больше выспаться... отошли воды.

Рожайте всухую.

Страшны ночи сержантского «братства».

Погонное равенство – холерный вибрион.

Они всё равно ищут повод обозначить превосходство.

Любое... выморочное – по сроку службы, и невыморочное – по кулаку...

А вдруг, из новеньких... да-да... из их же вчерашних рабов, оказывается с кулаком... и отлетает к стенке озадаченный «дедушка», и всё пухнет в нем от обиды неуважительной, и тогда «дедушки» идут в туалет.

Идут караулить не оборзевшего «салабона» (которого и в одиночку можно – он не ответит), а зарвавшегося своего же, у которого погоны как и у них самих уже перечеркнуты желтым.

Перед шерстистым домовым, ворочающимся в погребке у каждого из нас, жалко и бессильно спущенное со штабного верху равенство званий.

Нету равенства, и сочинять не надо!

Есть туалет, где сапогами помогают найти своё место в братском интернациональном коллективе, есть сержантский караул, где этот коллектив, оставленный без обычной поживы курсантинкой, начинает питаться самим собой.

Спят натруженные «дедушки», окаменев от дембельской гордости... спят на нарах под бушлатами (или плащпалатками если это – летом), а «молодые» (так именуют сержантов, только что получивших лычки на погон), стиснув всё, что можно, ходят на пост и стоят там, отапливая тулупы, провонявшие Дальним...

...ходят и стоят в плохо натопленных тулупах не по два, а по четыре часа, а потом сразу спят, минуя бодрствующую смену, потому что пом. нач. кара. понимает – если не дать поспать, то упадёт «молодой» на посту, ну а там, конечно, обязательно проверяющий грянет... и разбираться (...а если разбираться, так оно всегда взойдёт, что «дедушка» был сэкономлен и вообще на пост не ходил).

А то еще не просто упадёт, а замёрзнет на утоптанном снегу...

В общем... понимает!

Потому – пом. нач. кара.

Так что в периоды сержантских караулов бодрствующие смены отсутствуют. (Бодрствующие – это те, что куняют между постом и сном в ожидании нападения на караульное помещение).

С поста пришли – спать.

Ну, а уж если «дедушка» (не дай Господь!), сходил на пост (это скорее всего днем... ночью-то – ни за что), так и подавно – спать.

Станет он ещё вам тут бодрствовать.

Поэтому планируйте нападения на караульные помещения учебных подразделений в периоды между призывами.
Нападайте спокойно.
Там все спят.

А двести метров – совсем не...
Тебя сменили безропотно, даже готовно.
Разумеется, пом. нач. кара. послал твоего же сюрпризника.
Ведь этот ещё на прошлой неделе был голопогонным и бесправным.
Его уж точно не заломает лишний часок отслужить у саркофага.

Как размоталась эта цепь?
...с КПП позвонили в штаб? из штаба – в роту? из роты – в караулку? а начальник караула послал подменить?

Может быть...

Я так никогда и не узнал этого.

... я не знаю... я иду....

Прямо и сознательно иду внутри х/б, щупая лицом то место в пространстве, которое свободно от дрожи. Страх настолько сильнее радости, что она и не угадывается под округлившейся надо мной ладошкой неба. Асфальт ужаса... и нельющийся моросняк.

Нет... он конечно сыплет, но как-то смешно... сыпает *перед* и засыпает *за*.

А по мне – нет.

Нет равенства.

И сочинять не надо.

С самим собой – и то нет.

У ворот гуляет дневальный.

Ходит.

Он из нового призыва.

Ещё один обряженный... сунутый внутрь х/б.

Из первых, привезенных в батальон.

Комплектовка рот уже пошла, и в казармах появились кучки налысо стриженных со свежезатравленными глазами. И ими сразу стали затыкать дыры в неизбывном оброке суточного наряда.

Колесо крутится.

Надо затыкать.

Доприсяжных «салабонов» в караул ещё нельзя, но в остальные дежурства их впрягают с первого развода.

Ходит.

Он видит идущего слишком прямо, плохо бритого сержанта.

Он видит сержанта, и лицо у него делает длинную мину.

Ничего он не знает о сержанте, не ориентируется в ужасе, который окружает идущего кольцом непадающего дождика.

Он абсолютно глух к тому очевидному обстоятельству, что этот ужас, от которого даже вода шарахнулась, как-то связан с черноволосой женщиной, минут десять назад вошедшей в будку КПП.

Он оглох от стучащего в висках собственного страха.

Он уже второй день в батальоне.

Он не знает как жить.

Он не верит в жизнь, в наступающий вечер.
Его каждый шаг – боль в неприятёртой кирзовости, в бездарно намотанных
портянках, в предчувствии очередного сержантского пинка.
Идущий на него небритый со вчера сержант движется слишком прямо.
Так ходят слепые.
И зрячие, когда им целятся в спину.
Над идущим и вокруг него закипает и испаряется бледная сечка, но.....но
дневальный не видит этого, обряженный в смирительную рубаху первого
неушитого х/б. Обряженный видит только надвигающегося во вражеских
погонах. А надвигающийся вообще ничего не видит, потому что он тоже не
верит в жизнь.
Он не знает, как ему жить через сорок шагов.
Через десять шагов.
Сейчас.

Взялся писать про армию.
Я взялся писать про армию, не видя и близко ничьих бед, кроме своих. Это и
есть моя правда без риторики.
Потому что не было никакого обряженного в гуляльне у ворот.
Дневальные не гуляют у ворот.
Они стоят попеременно.
Стоят.
Служат они.
И длинную мину они не делают, потому что они её не снимают от первого
обжига казармой и до...

Всё, что получается на моём языке, было в действительности проще ровно
настолько, насколько торчащий в пятку гвоздь проще сапога, который ты
носишь по чьей-то необоснованной милости.
Когда колет гвоздь... попробуй, прислушайся к сапогу!
Припрятать лишний крошащийся кусок, кимарнуть в недозволе, простудиться,
если повезёт, и обжиреть хоть недельку в медроте... успеть что-то рвануть и
слопать из маминой посылки, пока не соскреб налога твой сержант, и «друзья»
взводные не разделили остатки на жадное минутное братство.
Оно образовывалось вокруг ящика, как стая у брюха недоеденной антилопы, и
рассасывалось по мере доедания.

Армейское пространство.
Пространство сапога.
Но колет гвоздь, и нет пространства.
Нет у вокруг мира, принявшего форму сапога.
Есть только гвоздь.
Нет... и гвоздя тоже нет.
Есть боль израненной пятки и одна повсюдодневная тоска, хоть проскакать на
одной ноге до туалета, хоть изобразить цаплю, не постыдясь молчаливой
кабины...
...а уж на ночь снять... оторвать от раны эту, как шаг, неотступную беду...
...это, ребята... я вам не скажу как... я не скажу вам... но, может, будет ясно...
может, станет ясно из всего, получившегося на моём языке, потому что я вижу
пространство армии.
Внутреннюю архитектуру сапога.

А в ту минуту, надвигаясь на смысл, я ничего не видел.
И только это и было: не верил в жизнь... не знал, как мне жить через сорок шагов.
И это и было пяточной болью в пространстве сапога – эта невера в жизнь, это незнание жить, эти сорок...тридцать..... десять шагов.

Бестолковая затея – надвигаться на смысл!
Как на него надвинешься, если он всегда проще... и ты обречён на глупость.
Ты идёшь... и надвигаясь не видишь дневального, а потом тебе надо его придумывать, потому что он обязательно был там где-то. Не мог не быть.

Какую-то рукавицу неба придумал... да всё, конечно, было на мне!
Наплакавшийся майский день, х/б в крапинку моросняка, побеленная бровка, как бы заботливо ориентирующая... трудности справа, ворота настезь с провисшей до земли антиавтомобильной цепью... и сама будка КПП... и только... трудности справа, какой-то страх повернуть голову... уже не давали выбора, и голова была повернута, и именно вправо... и было окно пропускника, истыканное мелкой моросью, а изнутри в стекло была она.
Ее рука стягивала с шеи синюю крепдешиновую косынку, когда я приблизился к окошку, в котором она истерически улыбалась серым лицом.
Отчётливость сохранила лишь, что я сделал спокойный взгляд назад, потом вперёд, и прикинув, что назад уже дальше, – да и через цепь опять переступить, – поднялся по ступенькам и вошёл в будку КПП не изнутри батальона, а снаружи.
Да, именно вошёл... именно снаружи вошёл... со стороны шоссе, словно бы это я приехал навестить её с того света, или приплёлся из ближнего колхоза в какую-то женскую армию, где служат в белых плащах и обязательных косынках.

И запах виска, до которого мгновенно упростилось её лицо, сосредоточил в себе весь непоправленный смысл.
Так и не поправленный, потому что содержал в себе и саму её, и всё то... (постель с узором обоев напротив, дававших горный пейзаж только из положения лежа на левом боку. Из всех остальных это были банальные обойные цветы).....
.....так и не поправленный, потому что содержал в себе всё то, чего она не привезла.

* * *

Я маятник себе
воздвиг.....
.....
.....
Кто-то глухо бьёт в стенку.
Сосед?

Не следи, читатель, за моими несюжетными репликами, преследуй положительную линию.

Я маятник себе.....

И им теперь отброшен в самую глубину наразгребённого отсева.

Среди мусора давно уже прошлого, я – маятник себе.....

И там – прекрасные, беловатосизые, отекающие, доверчивые, несмотря на огадившую их паутину, глянцевые, вопреки липкому мату, покрывшему выпуклости, так и не поправленные нелепости...

...тело в любви – умирающая проза... неуспевшая.....

...не успевшая за оплывающим стеклом.....

...за треснувшим алмазом.....

Не следи, читатель!

Эти отекающие, доверчивые, глянцевые, непоправленные – это тело в любви.

Не хочу повествовать тебе, как было дано высочайшее армейское соизволение, как мы нашлись, наконец, в четырёхстенном пространстве...

...не хочу.

Не узнай этого никогда!

Узнай, как выглядит тело в любви.....

как выглядит тело любви, когда она думает, что у неё есть тело.

...цикады звёзд засверливают прямо в погашенное окно...

.....оно было погашено почти сразу...

.....даже нашего ужина подавившегося не дождалось.....

Тараканы сбежали на крошки, но были неприятно рассеяны от обеденных дел чем-то большим и беловатосизым, молча образующимся на полу.

А если ОН смотрел в окно, было ли ЕМУ стыдно этих продолговатых движений, скольжений стекла по стеклу... бесшумного сцепления шин безумия с почвой кож.

И если ОН смотрел в окно, было ли совестно ЕМУ кольцеватых ласк, тихонько наращивавших сжатие, лунных русл раскинутых рук, подвижной дельты ног, меняющей карту серых от ночи простыней. если ОН смотрел... простил ли грешную тишину, в *которой* раздалось шуршание волос, в *которой* рты шумно вдохнули сверление цикад вместе с иглами звёзд, в *которой* хрипящая от голода мужественность... да, именно хрипящая и именно от голода... развернула женский свиток и пыталась читать его в пляшущих пальцах... да... именно читать и именно в пляшущих...

ещё не крича...

уже не крича...

так легко устыдимая потревожить зрелище БОГА.

Но если ОН смотрел, то что подумал ОН о Замысле, когда настало время выключить цикад... когда настало время многократного женского крика...

привезенного сюда чёрте откуда, разорвать полугодовую немь...

да, именно разорвать...

Что подумал ТЫ, когда произошло крушение камня... и не закрыл ли глаза, не прикусил ли губу, когда скрежет катаклизма багрово осел в глубину смешавшихся недр?...

ТЫ помнишь?

Кипящий гранит и жидкое стекло.....

И треснувший алмаз.....

ТЫ смотришь в окна по ночам.

Ты знаешь силу, с которой предают ТЕБЯ забвению.
Ты видишь огненные щипцы... смрад дымящейся шерсти...
Ощущаешь ли Ты эту лирику пыток, которую вынашивают в колыбелях
человеки, ничего не знающие о лицах друг друга?
Или просто выключаешь цикад и слушаешь крики пытаемых, бесполезно
добывающих из вражьего тела свою короткую муку, этот вечный пробел
главного, который они называют счастьем?

...молчите цикады!

Ваше засверливание уже лишне найденному ритму удара в боль...
Тараканы могут вернуться к восстановлению сил, оставив без дальнейшего
осмысления кричащую на полу беловатосизую бессловесность.
Она сама себя прикончит, докричит до последнего зверства.
Там иссохнет влажность подвижной дельты ног, гримаснув очертаниями
перевернутого стула, там ухнет об пол тунцовый хвост и вздрогнет другой
жизнью бесчеловечная туша, так упрямо добивавшаяся непоправимых
лепестей.....
.....так долго искавшая единства разорванной юностью двух.

И сон.

И спать на утлом плоту матраса, заведомо тесного двум, которым уже не надо
нуждаться друг в друге.
Терпеливые устройства локтей, щадящая будущее скрытость раздражения.
Распавшийся тунцовый хвост, высохшая дельта, потерявшая загадку
подвижности.
Опрокинутый стул развалился на две пары измотанных ног.
Тараканы сползут с обсосанных крошек ближе к рассвету.
Такой пейзаж.

А прикушенная губа в окне – явное излишество.

Поэтому, как художник высокого чувства меры, вычёркиваю.

И аннулирую всё позднее враньё.

Не было БОГА.

Потом уже.....а тогда не было.

Был чистый звон новорождённого крика, гортанный звон младенчества.

Шок первой жизни.

Боль от всего... от всего.

И потрясённые слёзы первого касания, и голоса, вынырнувшие из клубка
объятий-запахов, невозвратных и возвращённых и..... ступор похоти,
тормознувшей, как пёс, ткнувшийся в долго убежавшего ежа.

* * *

Я не смог разобраться в её плаще.

Находившееся в этом плаще тело ещё не могло иметь последствий для моих
чувств.

Только прошуршали пальчики небритостью щеки.

И вновь висок заслони́л.
А потом, действительно, без памяти обо всём промежуточном, была комната с умывальником и матрасом.
Спокойно, спокойно!
Остудите фантазию.
Два этажа длинных коридоров с двухместными по две кровати.
Нам после молеб (солдатам в офицерской не полож.) досталась та единственная, в которой по отсутствию кроватей и не могли офицеры.
Нам от щедрот дальневосточного техперсонала был уронён матрас, постель и одна подушка.
А мы не стали спорить.
И даже смогли смиренно поужинать добрым кефиром и тырсохлебом из подгостиничного гастронома.
И всё это было спасением.
О, Господи!...
И смыслом.
И часом поправимых нелепостей!
И когда я смог, наконец, разобраться в её плаще, хоть это и не плащ уже был, а какие-то давно знакомые брюки и совсем незнакомый свитер... это было спасение.
Лгут моралисты про БОГА в окне!
Я точно помню, – не было никакого БОГА...
И окно выходило в земляной сквер.
Я увидел батальон поверх её макушки и поверх земляного сквера.
Над Дальним волочилось уже неразличимое небо...
Я вспомнил – там находятся гудящие страданием казармы...
Её плечи, вдруг, стали страшными от наготы... а я признавал своих и несвоих, брошенных мною, преданных этим новым моим с ними неравенством, и я не грустил.

Торжественно было знакомство холодных тел.
Окно оказалось высоко, в недостижимом верху, и – тихое путешествие губ по гладкой стране утраченной и обретённой родины.
На матрасе от щедрот дальневосточного сочувствия исторгнуто единство из молчаливой борьбы. Не дух, но воздух, выдохнутый из пространства между телами... сливанное течение... ритмика впадин ...наступление стен и сжатие, сжатие.
В дальний поход за сиюминутностью – только это и знает молодость.
И прощена.
И будет вспомнута без гнева.
И после того, как явится БОГ, будет вспомнута, потому что добожеское не есть безбожное.

Из шума её волос раздаётся темнота.
И соединяется с законом, где нету БОГА.
Не знаем Его.
Знаем только то, чем измучила нас разлука и верим, что это – любовь, и дай нам хоть сколько-нибудь ещё прожить на сладком острие доверия!
Дай нам... потому что мы верим, что – любовь... ...потому что это – любовь...
...потому что любовь – это то, во что верят.

А разве веры виноваты, что бывает предыстория, где заглавные буквы вынесены в конец?

...из шума её волос...

и соединяется с законом...

а возвращается случайным порханьем неправильного ветерка и ознобом уже видимого ей предела.

Разумное даёт пробой...

нас дисциплинирует вырвавшийся из плена автоматизм, и я сдерживаю её ритмизованный позор и розовую качку заикающегося чувства.

И, Господи! наверно, я уже догадываюсь о ТЕБЕ, потому что сопротивлением последнего ещё пытаюсь членоразделить дергающее ею забвение, ещё хочу напомнить ей (и себе), что это я, что я есть, что не до последнего конца истрачен человек, не весь выдавлен в эту разрезающую сладость.

Страшен миг зачинателя, который держит в руках зачатое, а оно бьёт в него всей разбуженной жизнью мутанта.

Реванш изваяния.

Галатея откалывает киркой куски от окаменевшего Пигмалиона.

...о вечный геолог женственности, как неосторожно ищешь ты глубин!...

Нет, наша любовь была бурной, но человеческой!

Мы слишком были юны, и нас постыдила бы мысль о полном перерождении.

Мы уже осмелели, но еще стеснялись собственных тайн.

И потому, насытив ненасытимое, мы не спали, а шептались друг другу о невыносимостях тоски.

Так, будто и не было коробочки с письмами за каждый день.

Из шума её волос раздавался запах любимого виска, а вот её губы я забыл.

(Видимо, висок любил меня нежней.)

*и он любил нежней и неумней,
и он метался тёмною звездой,
обрывивая грусть косматой пылью,
он крался, как безумный, к животу,
и оживали сонные озера...*

Я видел перевёрнутый надо мною квадрат... вернее, смотрел в него закрытыми глазами... я ещё был, но меня становилось всё меньше, всё тоньше слабела нить, меня доедало лупоглазое пугало ночи, неотцепимо повисшее на руках, утекших куда-то вниз, далеко от плеч, в яму безличного копошения. Там действовали губы многомесячного ожидания, там сбывалась жуткая сказка писем, там нетерпение захлёбывалось, а меня становилось всё меньше, и всё отчётливее становился в закрытых глазах перевернутый квадрат ночи.

И не слыша, что смерть уже пришла, губы продолжали казнить, требовать... настаивали и выманивали обманом, доедали меня лупоглазым пугалом... и настаивали... и доедали...

требовать...

продолжать...

и казнить, наконец, уже...

Дисциплинированный светофорной мигалкой неподвластных попыток, мой обьедок конвульсировал, а она держала в руках ритмизованный позор,

добытый губами... и губы по инерции ещё продолжали требовать то, что и так исходило последней горячей волей, освобождающей хоть на время, хоть иллюзорно...
...хоть чуть-чуть ослабляющей этот вечный голодный плен.

* * *

Переживший операцию выдёргивания позвоночника, может только лежать, так как конструкция потеряла жёсткость.
Ты видишь, Господи, я не готов для божеского.
Не готов еще и сегодня.
Уже ведающий о Царствии ТВОЕМ, облеплен пиявками произвольности, и уже не рассчитываю на прощение, которому подвергнется наивность.
Нет наивности, нечем оправдаться!
Потому что не знающий БОГА – невежда, а познавший и не внемлющий – безбожник.
Поэтому я буду просто спать, тем более, что это и единственно возможное занятие для перенесшего операцию выдергивания позвоночника.
Я просто буду спать на узком плоту матраса под черным квадратом ночи.
Я постараюсь спать тем сном, которым спал тогда, но постараюсь увидеть в этом сне совсем не то, что мне тогда снилось, а то, что могло бы присниться, могло бы.....
если бы сны удобно выстраивались в согласии с будущими сюжетами.

* * *

“Тётя Маля!...”

*Какие-то люди на балконе...
Какое-то солнце и какие-то люди.
Улыбки и присяжный дикий виноград.
Тюбетейки.
Да, видимо, это тогда было модно + неумное желание прикрыть лысину.
Что мог бы наскрести свидетель этой фотографии?
Что эти люди в тюбетейках – что это и есть тот самый недорезанный мальчик со своей эвакуационной девочкой.
Лысый мужчина с отчетливым “ура” на лбу.
Красивая женщина со счастливыми глазами.
Или не очень?...*

И где-то за пределами фотографии уже бегают отросток с черными пружинами кудрей, так и не повиданный зачинательницей всего этого жителя, так и не научившийся звать: “Баба Маля, баба Маля!”

Всё!

Нет её.

Вынесли и сравняли.

Амалия Левит с максимумом партийного рвения лежит и гниёт.

А Киев сталинский цветёт и пестует на солнечном балконе

её подтрамвайного сына, успевшего пригнуться

от высоких надежд на политическое поприще до вынужденного положения токаря-инструментальщика.

Грузинский жнец ещё трудится вовсю на общесоюзной ниве, ещё заботится о физкультурниках и врачах, но пригнувшийся уже не боится.

Из спецовки промасленного работяги спокойнее глядеть на кровь огромного майского знамени с родными бородами и усами, зависшего между праздничным городом и едва видимым в небе дирижаблем.

Утро первого мая всем киевлянам выворачивает головы из окон вверх в поисках этого привычного кулька, похожего на резиновую бомбу, которую маньяк-директор ф-ки детских игрушек намотал на палец ниткой и отпустил в небо.

Да, все на местах.

Маршей в избытке, и уже с утра не хочется спать, а только маршировать.

Даже если тебя в прошлом году... нет.... много прошлых лет назад, перерезало трамваем...

Как это было давно и больно.

И как хочется маршировать.

В избытке!

Над головой резиновая бомба, а у нее под брюхом – на смерть знакомая компания плескается в любимой тряпке, ими же добросовестно и обмокнутой в красное.

А под балконом цокот копыт...

Да... свидетель той фотографии припомнит конную милицию.

Ноги лошадок в самых изящных местах над копытами обмотаны чистейшими бинтами.

Чтоб от аллюра рябило в радостных глазах.

И рябило!

И вся жизнь протягивала молодое тело мая любовнику.

И шарика задиралась над толпой любопытными головами.

Иногда, когда уже ничего не ждёшь, страшной шарадой приходит – как?

Как всё это?...этот пиратский стяг над городом, это майское тело жизни, беззаветно протянутое любовнику-садисту...

Балкон уходил дверями в длинную тенистую комнату, где трудилась над праздничным столом седая смирившаяся женщина, недосчитавшаяся мужа

после войны и ненавидевшая мужа своей дочери. Оголтелый мальчик, трубивший революционный марксизм, ворвался с какой-то пыльной рабочей окраины вместе с отчетливым “ура” на лбу и привычкой ходить на работу в майке. Воспользовался калиткой эвакуации, заморочил голову, втиснулся в семью и разрушил все нормальные еврейские планы.

А теперь уже бегают отросток.

И почему бы её нормальной консерваторной девочке не иметь нормального консерваторного мальчика?

Почему этот бандит?

Дух большевистского хулиганства бродил в калечном потомке Амалии Левит, подавляя даже еврейские миазмы, которые могли бы если не сблизить, то как-то примирить. К тому же и пролетарская определённая шокировала среду, шокировала мать... Ведь мог же быть какой-нибудь пианист. Ведь сколько друзей, сколько ухаждёров, сколько было надежд... спокойных мыслей об интеллигентной послевоенной жизни...

И теперь этот подольский бандит, и вот уже – отросток, и... “Мира, Мира!!... он щас в майке на работу пойдёт!”

Она ненавидела.

И трудилась над праздничным столом, потому что не было другого, потому что не было больше мужа, потому что была “несчастливая дочь” и отросток, сидевший на корточках за пианино.

Он там перебирал «автомбочки».

Это был балкон.

Пятидесятых годов.

Под балконом мычала Совдепия, насильно укрытая праздничной попоной, как недопонимающая корова.

На балконе распоряжалось ослепшее послевоенное счастье, неправдоподобная удача двух.

Над – серая варезка дирижабля спускала с торжественной высоты расстрельно проверенный на прочность официальный трос с бьющимся на нём марксистско-ленинским поголовьем.

А в тенистом забалконье дореволюционного дома не происходило почти ничего: только старая еврейка имитировала жизнь сосредоточенной сервировкой, да отросток за пианино перебирал «автомбочки», и если бы можно было докричаться до проваленных щёк закопанной мыши, то хотелось бы (чтоб не скучно ей было отдыхать) заметить, что в кудряшках за пианино не заведётся даже вошь воспоминания о её дурацкой жизни, затоптанной стадом парттысячного призыва... даже вошь воспоминания... не то, что благодарности...

Просто потому, что кудряшки вообще не знают, кто она такая, эта самая «Маля-баба-Маля»...

* * *

В бытовке били.
Опять кого-то били в бытовке.
Какой-то маленький юркий казах шумно катался под русскими сапогами.
Как выкрикивающий мяч.
Да Господи Ты, Боже мой!.. почему под русскими?
Под коллективными советскими сапогами.
Дружба народов неумолимо вдалбливала себя в подрастающее сознание защитников общего нашего Отечества.
Общее Отечество – это одним и тем же коллективным сапогом в каждую индивидуальную голову.

Лето осуществлённого смысла было жарким и сырым.
Даже лычки на погонах заворачивались свежей стружкой.
Большие облака шумели лишней водой.
Тайгу размазало листвою и замолчало приготовившимися клещами.
Батальон дымился рабочим потом нового поколения невольников.

Лето осуществлённого смысла...
Произошедшая жестокость, сбывшееся отчаяние.
Живая любовь, дергающаяся козой на армейской привязи.
Очень несложная география: изнурительная долгота резинового дня и мгновенная широта ничейной ночи... мысль мысль мысль мысль мысль мысль мысль мысль мысль...и: “Товарищ лейтенант, разрешите?”
“В роту – товарищ сержант! Тут вам армия. Ко взводу, ко взводу...
В армии служить, а не с женами!..”
Долгота расчехляет штык, он неудобно помещён в пищеводе, он заточен с обеих сторон... а впереди не только корченая ночь, но ещё и целый новый день изнуряющей долготы, так и не зачехлённой, так и не выдернутой из сочащегося пищевода.
Разведка временем, опрокинутый ящик надежд, которые ещё пробуешь собрать и тихо выпрашиваешь, выпрашиваешь, выпрашиваешь – «А кто сегодня заступает дежурным по части?»... и ждешь электричества последних предвечерних часов... предпросьбных... предсмертных... потому что ещё одна ночь без выдоха... ещё один день без широты, и штык войдёт верхним концом в мозг через разрезанное горло, а нижним – в мошонку через проткнутые кишки...
Безвоздушная дорога в штаб, тихое издевательство судьбы... окошко дежурного по части...
...постучи, постучи... открой окошко, открой рот, изобрази миндалинами эту тщетную просьбу... бульканье бульканье бульканье... бульканье: “Товарищ лейтенант, разрешите?”

Она ждала меня.
В уютной квартирке лейтенанта Бугая, командира моего взвода, доброго, скучного самому себе человека.

Того самого, который рванёт ещё меня за рукав и скажет: “Интеллигент несчастный!”

Из какого-то уважения к интеллигенции, которого он так и не смог побороть, Бугай уступил нам свою кадровую квартирку, потому что в ожидании неприехавшей жены сам жил в офицерской бесплатной гостинице.

Она ждала.

И далёко казалось мне от моей заколдованной пристани до уютной квартирки. Это был не свободный полёт, но плавание в густых водах отпущенности.

...тугое разжатие штаба... неузнаваемо легкий ход... наплывание на казённую маету КПП и перешагивание через неё... через провисшую цепь... через двух дневальных и квадратного от срока службы сержанта.

- К жене?

- Ага!

Я не думал о тех новых отношениях, которые образовывали теперь мою армейскую явь: о странно вялом диалоге с дежурным по КПП, (или даже дружеском, если это был мой сюрпризник), об опасливых взорах бродячих курсантов, с которыми я был уже по разные стороны, о периодических отдаваниях мне чести, (или неотдаваниях, которые я тоже не замечал), об осторожных подходах: “Товарищ сержант, разрешите обратиться...”

...она ждала, и я видел только грозные звёзды на воротах, сквозь которые лежал путь моего плавания.

...в густых водах отпущенности...

Батальон размыкало в пустоту, и был кусок совершенной непричастности, непринадлежности ни к чему, полная пространственная неограниченность, из которой можно было убежать в неконкретный и страшный Дальний Восток.

Но она ждала.

Но я не был свободен.

Дважды не был.

В кратком вдохе армейской поблажки и в земляных тропинках офицерского городка, неукоснительно всасывавщих в воронку парадного, где она ждала.

Несвобода любви заживляющим пластырем ложилась на свежую рану оторванности.

Одна несвобода лечила другую, и мы.....

.....нас осеняла закрытая дверь.

И выстраданную долготу разлуки сменяла краткая преизбыточность широты...

Видела ли тайга?

Огромный воздушный шар...

Он надувался с тихим шипом, подымал рахитическую голову и беззвучно качался целую ночь над неприкаянным офицерским сном таёжного гарнизона.

Шар широты.

Там были мы.

И не в лад с расплюснутыми уставом сердцами Дальнего Востока кругло билось наше неуставное разбухшее сердце...

жить без тебя..... любимый...любимый.....лю...
имый.....нет... ещё нет...ещё...нет... сильнее... да... да...
всегда... не уходи... сильнее... сожми... ещё... ещё... ещё...
ещё... ещё.....ещё...ещ... да... да... да да... да... да-а... да-
а-а... так..... дол...го...так долго..... невозможно.....
не.....пусть никогда... тобой... только тобой.....
до края..... до кра-ая... до сердца... весь... весь... не
щади... разбей... только ты... только ты... только ты...
только ты... ты... ты... ты... Т...

Я молчал, как пронзающий клинок.

Даже сбываясь, это было несбыточно.

Осознанное теряло смысл, а неосознанное качало над нами рахитической головой.

Это была разведка временем.

И открывавшееся взору не пугало, потому что взор не узнавал.

Ночь напротив банальничала фонарем.

Мир напротив банальничал сном, подготовлявшим завтрашнюю якобы-жизнь...
и.....

.....и взор не узнавал,

ничего не узнавал из того неосознанного, что мягко отворяла мокрая от пота подушка.

А утром уход по нитке натянувшейся долготы.

Пейзаж дальневосточного светанья.

Стиранный воздух.

Гигантский дурак на плакате.

Он когда-то вдохнул и с тех пор держит улыбку.

Обобщённый советский воин чему-то явно радуется.

Земляные дорожки отталкивающе центробежны.

Вчера вечером – в неизбежную воронку парадного, то есть... никуда больше,
никуда... только туда.

А сегодня – веером брызг, куда угодно, куда угодно... но... всё равно в
батальон.

И уже не целым и накопленным, а осколком.

Разбившимся, часть которого должна же вернуть себя армии.

Вернуть себя, свою изолгавшуюся неволей заглавную букву.

Вернуть ненормальному ротному алфавиту, где всё... где все начинаются с
конца.

Тихо скрипнутая дверь, отмытые за ночь до блеска ступени, ещё один скрип,
казарма, измученная предчувствием утреннего побоища.

Волки уже бродят, оправляя ремни.

Молодые и старые.

Те, которые мучили меня и другие, которых ещё недавно мучили вместе со
мной.

Вокруг белая двухярусность, ждущая клыков.

“Р-р-р-рота, подъё-ё-ё-ё-ё-ё-м!!!”

Снега простыней рванулись к спасению, но стоя уже вбежала в узкий
промежуток.

“Первый взвод, под.... звод... салабоны... третий... ём, сказано... кому не ясно... подъём, уроды... была коман... щеглы х..евы... я сказ... форма... полная форма... к построению... приготовиться к построению... блядь... строиться... второй... строиться... стро... суки... выпердыши... строить.....лядь... я сказал,... козлы ё...ные... что??? команда вам по х...ям????????... отбой... отбой, блядь...”

Здесь строился взвод, а там уже снова ломился в отбой, стреляя оторванными пуговицами, брызгая страхом неразлепленных глаз. Зови, зови маму, малыш... зови, если тебе не отшибло память кроватной перекладиной!

... нет, не успеешь, не успеешь,... потому что уже опять:

“Подъемполнаяформаприготовитьсякпостроениюстроиться!”

Да-да, именно подряд...

все команды подряд,

потому что если с перерывом, они успеют одеться, и нарушится эта сладкая бесцельная возня между койками, которая так радует хищный глаз, в которую так упруго-мягко входят клыки.

Ты не зовёшь маму, малыш, ты пеленаешь безрезультатную ногу, нет... просто съешь в безрезультатный сапог, потому что ты уже усвоил... да, усвоил?

Что нельзя оказаться последним на подъеме.

...изъявленность жизнью... смешная и непреходящая часть вины...

Лейтенант Мисеев, зам.ком.роты по строевой, присутствовал на подъеме. Вернее, присутствовал в канцелярии, отзаборенный дверью от давно знакомого и уже наскучившего ему ужаса.

Всякое утро кто-то из офицеров должен присутствовать и должен отзабориваться от ужаса, чтобы сохранить нестойкое убеждение, что «так и надо».

Так и надо.

Я пробирался к своей койке, переступая через горячку копошащихся тел, через слюну вплюнутых в испуганные лица команд, через рукопашную невозможность их выполнить...

Я пробирался к своему взводу, а ужас пробирался сквозь лёгкие к гортани.

Надо было скорее...

чтобы ужас не выпрыгнул, не выкрикнул.

Сержанты месили роту.

Среди них были и мои сюрпризники.

Те, что вчера были хорошими курсантами, лаяли теперь хорошими сержантами, постыдно умело хватали за шиворот, лихо пинали в зад, будто и учились полгода только хватательству и только пинательству... только яростным плевкам.

Старшина прогуливался в этой аллее кипящего мяса, хотя и не было места в ней, даже на взгляд, для прогулок. Он прогуливался и лениво допинавал стоящее и бегущее, переступая великодушно через уже лежащее. Лучшее место для старшинской прогулки – узкая полоса между койками, а самый

свежий воздух – пары курсантского пота. Приятно вспомнить отошедшее в давность истязание... приятно поучаствовать в отместке.

Ногами ...сапогами в безответные спины....

Сапогами!.....

Мой взвод, тот самый второй взвод первой учебной роты отдельного медико-санитарного батальона, где я промямлил полгода ненужным курсантом и где теперь слыл командиром отделения – мой взвод стоял смирно в двух образцово перепуганных шеренгах.

Он был похож на тот, первый... на прошлый, который содержал ещё меня в своём коллективном испуге...

...был похож совсем иными лицами, принявшими вечное армейское сходство всех со всеми.

Белила страха.

Симптоматика общего отравления.

Та же разодранность воротничков, те же падающие штаны... торчащие, как тесто, портянки.

“Внимание, первая шеренга – два шага вперёд мар-р-рш! (расс-два).....

...кр-р-р-ю-у-угом! (раз-два)”

Теперь они стояли лицо в лицо друг другу, и не могло уже тлеть надежд для второй шеренги.

Ничто не могло уже быть скрыто спинами.

Обе шеренги стали первыми.

Гретый теплом, которое всегда обильно выделяет агония, между ними гулял волк. Он не был похож на курсанта Ажищева, недавно бежавшего рядом со мной (хоть и значительно лучше меня) сквозь свою первую армейскую зиму. И не мог быть, потому что он был очень похож на сержанта Ажищева, совсем незнакомого мне людоеда.

Зверинки проросли.

Его глаза – два розовых куста, давшие всё кроме цветов.

И конечно он драл воротнички, конечно сдёргивал незастёгнутость и даже уже знал по подсказке рванувшегося изнутри садиста, как долго держать за пуговицу, прежде чем её оторвать.

Его сержантскую молодость можно было угадать по преувеличенному интересу мучить.

Их всех, – моих погодков, – можно было сосчитать так.

Только немногие из самых «призванных» оставались и на втором году службы столь же кровожадными. Это нельзя было рассмотреть из загнанного курсантского полугодия, но теперь, глядя с мостика относительного равенства, можно было.

Самыми жестокими были только что получившие власть.

И ужас не оставлял ни сантиметра удивлению.

Они рвали пуговицы, которые еще вчера рвали с них... они каждым пинком утверждали правильность того, что они делают... а, стало быть, и правильность... справедливость того, что происходит с жертвами их воспитательного вдохновения, а, стало быть, и правильность того, что вчера творили над ними...

....что вчера **это** творили над ними...

И как в зеркальном визави убегало в бесконечно повторённый «вперёд» и бесконечно повторённый «назад» всё **это**... неправдоподобное, невыносимое

эТО... от которого, отзаборенный дверью, прятался в канцелярии зам. ком. роты по строевой, лейтенант Мисеев.

* * *

*Можно ли высосать из пальца то, что должно брызнуть из него само?
Тут ведь не в том дело, что – дефицит брызгающей субстанции.
Просто необходим прокол.
Всё это есть, но оно внутри под ороговелостью, и потому необходим прокол.
Или ждать, когда истончится до невозможности уже сдержать, и тогда надеяться на торжественный гейзер?
Но это – ждать конца искупления, ждать отмены алфавитных порядков, когда заглавные буквы найдут, наконец, свои настоящие места и обнаружат там непосильное бремя ответственности.
И примут его.
Когда найдут...
Когда?
И где?..
Я думаю – с русского края.
Пока ещё буква «I» продерётся сквозь оставшуюся толщу?
Путей назад ведь не бывает.
Преодолеть придётся вперёд, а, значит, через всю оставшуюся толщу. Какая там она у них по счету – девятая... десятая?
Безнадёжно запутана в тёплой середине.
Нет-нет... конечно с русского края!
Стоящий на краю падёт первым.
И первым осознает себя, своё истинное Я... свою заглавную букву.
И первым извергнет то, чего не высосать из пальца, что должно брызнуть само.
Не от дефицита и не от избытка, а от истончённости сдерживающей оболочки.
Потому что оно там всегда было.
Потому что Бог есть в каждом.
Потому что чувство вины – это Бог.
Значит, ждать конца времен и пересмотра алфавитов?
Или вонзить что-нибудь острое в палец?
Неужели только так?..*

*Неужели никак иначе не выходит Бог, кроме как струей
через дыру в этом сладко дремлющем теле?
Пожалели прибитого... ткнули багром...
А Я же и говорю – необходим прокол!
Просто, чтобы ОН мог выйти Сам Себе навстречу... на
разговор.
На этот долгожданный разговор Пигмалиона с Галатеей.
А кто их знает, когда они ещё надумают ткнуть багром!
Ещё пока прибивают... и, разрешите доложить, нет уже
терпения слушать, нет никакой возможности
присутствовать при таком долгом мессианстве
самоприбивания...
Поколение за поколением... всё тот же молоток и коробка
неистоимых звездёй.
А когда ещё они надумают ткнуть... чтобы, наконец,
брызнуло, чтобы вышел из продырявленного животного
скованный Бог?.....*

Нелепо принимать чужую вину.
Если не заподозрить, что чужой – вообще не бывает.
Мне нелепо теперь каяться в грудь, что я был сопричастником.
Я не был сопричастником...не был я соучастником.
Только очевидцем.
И чуть-чуть жертвой.
Я вывернулся, в основном, из под жертвенного ножа.
Он отхватил мне, ну разве что, пару пальцев.
Меня вывели-таки легкие пути, исканые и найденные компромиссной моей
совестью.
Я нашел способ отлынуть, и только теперь, уже отстрахованный тройным
барьером сержантских лычек, с ужасом наблюдал то, что должно было бы, по
справедливости армейского бессердечия, произойти со мной.
А, может, говорю я, не в отлыне дело?
Может, просто страшнее смотреть как кого-то... чем чувствовать, как тебя?
Я даже подозреваю, что это нормально.
Тем более, что именно так ведь и было.
Однажды понесённая мука... а в остатке вечный ужас, ужас каждого дня,
каждой молитвы... и больная память посторонности.
Искупление непричастности...
*В его... ЕГО... глазах погас ужас...
.....в ЕГО глазах давно погас ужас, который и по
сегодня ещё мечется в наших.
Видимо, у подножия страшнее, чем на самом кресте.*

* * *

Забытые собственными чувствами зайцы судьбы метались под веселой и
неприцельной пальбой, а я и не думал хоть одного спрятать за пазуху.

Не мог?...

Да, не мог и знал что не могу, что бессмысленно... что армия, учебка...

Не хотел?...

Да не хотел, как все мы не хотим, а хотим думать о любимой.

Думать и не существовать в любом кошмарном отрезке жизни, который нам теперь выпадает по очереди.

И нам мешает мечущийся в глазах ужас... мешает думать о любимой, но, может быть, помогает **БЫТЬ?**

Потому что, может быть, **БЫТЬ** – это испытывать вину?

Давай-давай... влезь за пазуху умирающей прозе!

Испытай свою вину.

Испытание или испытывание?

Нет, один обязательно испытывает другого.

Моя вина испытывала меня и заставляла за мыслями о любимой.

Когда окончательно скомканные взводы убегали на уличное истязание зарядкой, я расставался с тёплой близостью ужаса и пробовал умыться.

Но как раз в этот момент из канцелярии выходил утренний офицер, и если это был лейтенант Мисеев, то мой путь с полотенцем в туалет прерывался узостью глаз и вопросом: “А вы, сержант Левит-Броун, почему не на зарядке?”

Тогда мне приходилось молча оставить намерение и по форме голый торс выйти из казармы. За взводом я, конечно, не бегал, а солнце, уже прибитое к плоскому дальневосточному утру, пристально осматривало моё исхудавшее, но так и не ставшее мускулистым тело.

За взводом я не бегал просто потому, что дежурный офицер не бегал за мной, но как раз лейтенант Мисеев давал себе этот труд, выходил из казармы и напоминал в спину мне своё присутствие.

Вообще, лейтенант Мисеев имел ко мне особенную любовь.

Его глаза при встрече с моими никогда не теряли узость.

Он был маленький рыхловатый военный, отчаянно стремившийся достать фуражкой до собственного мнения, вечно начищенный и сверкавший нестареей сброей. Его жизнь, по-видимому, представляла бесшумное дежурство у прицела недреманных глаз. И его смазанная портупья была способна на то, чего не сподобились бы даже запотевшие смолинские очки. Тот презирал армию из кресла «интеллигентности» и своей исключительной выправки.

Этот мыкался ненавистью к собственному неудачному росту, не верил, но трудился смастерить из армии судьбу.

Смолин пил и аристократически небрежно проигрывал погонный покер.

Мисеев терпеливо высиживал каждую звезду, был всегда тихо зол и прищурен.

Тот издевался... этот преследовал.

А как ни тяжело подвергаться жалу иронического садизма, ещё хуже, когда за тобой след в след идут тридцать восьмым размером мужской ноги.

“Товарищ сержант!...” – и мне становилось горячо с двух сторон.

Спереди – от солнца, сзади – от напоминания.

...по асфальту тогда, по асфальту... и за угол, в сторону очень либерального КПП, потому что теперь контрольно-пропускной пункт уже не препятствовал.

Лёгким притворным бегом на бетонку... а там уже добежал взвод, чёрно-зеленый до пояса от сапог и штанов... серый и липкий выше от хронически невымытых тел.

Погонщики справа... погонщики слева...

Хорошо отмытые и даже пахнувшие “Сиренью”.

Налитые уже армейским опытом.

– Шо, Левит-Броун, и тебя выгнали?

– Ага!

От пробежавшего мимо стада отделялся здоровый дым свежего надругательства. Мне не надо было там быть, чтобы представить эти три километра кросса... этот гусиный шаг... команды: “Вспышка справа”, от которых всё бросалось влево и мордой вниз, или мордой вниз и вправо – от команды “Вспышка слева!”

По несытой сержантской воле в армии вспыхивает отовсюду, а грязи на Дальнем...

От пробежавшего мимо стада и от бодрых пастушьих тел отделялось и находило меня чувство вины – аэрозоль пота с запахом сирени.

Оно находило меня и, как всегда, заставляло за мыслями о покинутом теле любимой, о нежном пожатии ног, обнимающих шею, о мраморах подмышек, о пронзительной чистоте смешавшихся слюен.

Оно находило на меня лишь для того, чтобы удостовериться посторонность... опять посторонность... опять непричастность.

У меня болело отдельное горе – разбухшее сердце прошедшей ночи.

* * *

“Р-р-от-а-а! Выходи строиться на завтрак!”

Больше неизбежности чем приказа.

Хотя для них это, конечно, приказ.

Для них... для недоумывающего скока всполоханных зайцев, в которых так легко было попасть.

Удобно стрелять дробью в метнувшуюся стаю.

Солнце уже оторвали от рассветной доски и прибили повыше.

С отменой курсантского рабства дальневосточное светило не стало нам нежней. Солнце раба, громяющее в гнутую спину, не более жестоко, чем солнце невольника, разогнувшегося и заподозрившего вольер. Армия располагает весьма широким ассортиментом рабств. От полного забвения себя в безнадежной попытке дожить до отбоя, (то есть попросту выжить) – до сравнительной отпущенности поводка, когда он уже не душит, а просто держит. На этом сравнительно отпущенном поводке есть время погулять по кругу, обнюхать вольер, осознать себя за забором присяги...

...обнюхай, обнюхай... ты присягал?...

за маму?...

за будущего сына?...

а так бы не пошёл?...

без присяги, что... не пошёл бы?

Кому?

Кому ты присягал?

...т ы п р и с я г а л...

Этим подонкам, носящим козырьки фуражек на касках лбов?

Этим подонкам, которые толкнут тебя в яму некормленных сержантов?

Этим подонкам, которые будут издеваться над тобой по санкционированному праву физподготовки?

Этим подонкам, которые завтра метнут тебя по первому приказу в какой-нибудь ими же придуманный огонь, не сделав тебя ни на йоту физподготовленнее, а сухо зачислив в потери твою заранее отрезанную голову?

А ещё через несколько дней... о, Господи!

С сапёрной лопаткой... по улицам мирных городов...

.....с сапёрной лопаткой, чтобы не тревожить общественный порядок стрельбой.

Обнюхать вольер, осознать себя за забором присяги и возненавидеть на собственных погонах лживые лучики лычек – струи сержантского солнца, прибитого к плечам.

“Р-р-от-а-а! Выходи.....”

Грохот с лестниц.....

И теперь уже мы выносим их на пинках, устраиваем отместную горку в два этажа.

Курсантский кубарь выкатывается на асфальт.

Мы славно попинали!

Удовлетворённые, мы вышли вслед молниеносно построившейся от испуга роте.

Я говорю «мы», потому что и на мне шестеро лычек, шесть лучей сквозь решётку... выгоревшие промежутки между прутьями.

Я говорю «мы славно попинали», хотя пинали мы не тех, кто пинал когда-то нас... не их, а вместе с ними, вместе с теми из них, которые ещё не ушли на дембель, взмеси́ли вязкое тесто из только проходящих школу озверения.

И пошли на завтрак.

Рявкнул старшина, и пошли.

* * *

*Надо сделать шаг. Надо шагнуть, потому что умирает...
опять умирает. Остывший камин палача, заскорузлое
плавление, распавшееся назад на старые драгоценности:
стиль, метафорика и так далее...*

Повествование – гибель автора!

Измученная жизнь мстит за себя долговременной прозой.

...сделай шаг!

* * *

Гранитный дядька Хабаров остался на улице.
Так озабочен бесконечной своей угрозой вокзалу, что не пошел с нами.
А мы вошли и точно по графику отправления определили, на котором пути затаился динозавр.
Я нёс её чемоданы, я вел её в жертву голодному зверю с надписью на зелёном боку “Хабаровск-Москва”.
Всё было против.
Опять распадалось единство.
Мучительные два месяца наблюдали за нами отошедшим в сторону счастьем.
Она искала вокруг перепуганными глазами.
Что-нибудь в тамбуре, чтоб не глядеть в глубокий кишечник вагона, уже начавший переваривать её вещи.
Она искала, чтоб не глядеть на меня, но глядела именно на меня.
Потом пришли слёзы и она крикнула, а зверь нетерпеливо дёрнулся, как будто его донимал слепень.
Нас ткнуло друг в друга...толкнуло в объятие...
Я бессмысленно ещё подержал в руках всю её мягкую, заплаканную жизнь, нет... именно осмысленно, но уже бесчувственно, нет... чувственно, но так страшно, как держат перед разлукой.
Как держат, когда распадается.

И возвращаться в батальон.
Искажённые правдой стёкла демонстрировали уродливый советский город.
Он впадал в какие-то лощины, истерично вспархивал на холмы, как безуспешная балерина.

.....
.....и возвращаться
.....в батальон.

Всё ехало со мной.
В этом «Икарусе» было душно...
Что-то ехало снаружи.
Навстречу.
Мимо.
Улицы, перепаханные озабоченностью лиц... незванность берега и громадной северной реки.
Амур нехотя отползал от дороги, то, вдруг, подскакивал и дразнил немощь асфальта.
Но большая часть ехала внутри.
Почерневшее сердце остановилось.
Обугленный покойник.
Уже не надо было корчиться в пламени.
Всё случилось.
Усилие дизеля натянуло эту цепь, динозавр хрустнул суставами, попробовал сипя, а потом дружно...

Последний вагон освобождал платформу, созерцая уже мою спину.
Дядька Хабаров... августовское жёлтое пекло... распавшееся единство...
В этом «Икарусе» было душно от ещё не остывшего.
Большая часть ехала.

Внутренняя книга, которую пишет в нас страдание и которую так трудно
перепечатать словами, впала в абзац бессилия, знаки заплакали и
расплылись. В этом аквариуме я сидел, честно исполняя позу пассажира
рейсового автобуса. Мне предстояло сойти натом километре, так и
не доехав до города-сада, искренне поименованного Комсомольском-на-
Амуре.

Меня не ждал сад, меня ждала тайга.

..... ехало.....

Разматывалось от подножия гранитного дядьки.

Два месяца натянутой тетивы, лето неутомимых поисков лазейки сквозь КПП,
«ласковый лепет» отказов, частокोल начальственной принципиальности.

“Нет, нет, товарищ сержант... это слишком! Жёны должны ждать дома... это не
дело – срочнику на ночь к жене ходить... хватит нам и без вас тут женатиков.
В роту, в роту, пожалста!”

*Вязкость горла... удушливая топь невыкрикнутости...
слабая смерть каждой неотпущенной ночи... утренняя
судорога отдохнувшей надежды... ещё один раскалённый
взводный день, исколотый медицинскими иглами её и
моего одиночества... скупой глоток встречи через
забор...*

*...зелень, зелень... пыль придорожного куста... её
искусанные комарьём ноги... страшный запах духов...
операция гортани... сухие объятия... губы... губы, губы...
молча, молча... рёв гарнизонных машин... руки,
вылепливающие её тело, отсечённое штапелем...
выпуклость горячего лба... и поспешное лазание назад с
осколком – «...может сегодня...» – в так и не
прооперированной гортани.*

*И ночи, которых к концу становилось всё меньше, потому
что офицерское раздражение всё реже считалось с
состраданием.*

Ночи, в молчании которых она кричала.

*Все знакомые слова завершались в первые пять минут, и
она кричала в распахнутом распахнутых бёдер... в заломе
свешенной головы, до конца ритмизованная и
раздробленная на междометия, испугавшая время.....и
оно стало пунктиром- - - - -*

*испугавшая казённый сон офицерского дома... и он
порицательно и страстно подслушивал это громкое
безобразие...*

Это было безобразие!

*По крайней мере я не ощущал ни своего, ни её образа, я
терялся глазами в темноте подушки...а всем остальным
– в темноте её рта, её рук, её ног и...*

...и это было без-образие.

Или образ беснующегося андрогина.

Я не знаю... утро застигало нас, уже разрезанных надвое сном.

Всё ехало со мной и ложилось на бетонку лужами, мокрыми пятнами памяти. Абзац бессилия, в который впала внутренняя книга, вёл меня в мутное. Надо мной остановились каштаны. Из под их растопыренных лап проступили ржавые улицы, давний город плохо покрашенных водопроводов, каких-то свиданий... прогулок с сахаром во рту... одинокого детства, похожего на неменяемый взгляд совы. Мутное временами сгущалось, налетев на тормоз очередной остановки, и я не просыпаясь, видел Дальний... самый дальний из всех возможных востоков... просунувший долину под последнюю даль... ..перелесок... и снова дол... недвижимый и неостановимый – бильярдное поле без бортов. Окончательная решённость участи.

А была ли она... участь?

И что это такое?

Может быть, родиться в семье уже есть окончательная решённость?

Может, родиться – это и есть выкатиться на бильярдное поле без бортов?

Особенно, если тебе удалось родиться от культурных людей, которые всегда знают, за что сделать ребёнку хорошо, а за что – плохо.

За что?

И будет участь окончательной уже в первой твоей промокшей пелёнке, в первых вязанных ботиночках, которыми ты гуляешь по собственным какашкам. И будешь ты грамотно воспитан тяжелой ладонью папы, которая, ложась проверенной оплеухой, почти целиком заслоняет мир твоего маленького лица. Твоему маленькому лицу.

Да-да... мама!

Ты очень правильно молчала.

А он очень правильно регулировал мое беспорядочное катание по бильярдному полю без бортов, предохраняя от закрая опытностью тяжёлых культурных рук.

Ведь что такое культурное воспитание?

Не просто – разозлился и побил, а за что-то... за вот это конкретное «что», которое он уже понимает, а ты ещё нет. Он уже порицает, а ты еще не можешь...

...осознать.

И он помогает тебе.

Он помогает тебе, а маме помогает дверь.

Отзабориться и сохранить нестойкую уверенность, что так и надо, что битьё определяет сознание.

Нет, мама... битьё определяет дверь, а дверь определяет сознание.

Это твоё сознание он определил моим битьём.

Бил долго и страшно, но дверь глушит звук.

И крик.

Дверь – великое изобретение нравственного регулирования.

Добрая половина бессовестности обязана дверям, закрытым вовремя.

Или вовремя не открытым.

А возвращаться в батальон кому охота?

Рассматривать пыль коровьих спин, и поверх холок – самый дальний из всех востоков...

Рябит натруженное терпение, мелькают полигоны – глиняные тарелки, на которых наша армия учится вести неограниченную войну ограниченными контингентами.

Неодушевлённая жизнь беззаботно пропускает «Икарус».

Чисто автоматически притормаживает на остановках без сознательного намерения задержать.

Я возвращаюсь в батальон.

Ненужный патриот.

Престарелый носитель заглавной буквы.

Не надо мне ничего!

Куда ни глянь, всё на эту самую букву.

... велика**Я** и безысходна**Я** земля**Я**...

.....глупа**Я** и безысходна**Я** армия**Я**...

Поздно, поздно уже теперь любить этот мир, в котором всё было с самого начала поздно. Всё, даже выкрикнутое на задворках чьей-то трупной памяти:

“Тётъ Маля, тётъ Маля... там вашего Лёньку трамваем перерезало!”

Поздно – потому что его уже перерезало.

* * *

3

* * *

В ротном туалете стоял сержант.
Он изучал дублированные умывальным зеркалом глаза, разъедаемые дублированными кольцами вялого дыма.
Его губы без улыбки держали сигарету.
Двое курсантов справа чистили зубы перед заступлением в суточный наряд.
Они делали это без страха, не косясь... вернее, косясь без страха на потемневшего субъекта в лычках, который (они уже знали это наверняка) не бьёт. За три месяца учебки они сумели привыкнуть к лысому с синими обводами еврею, который часто отсутствовал на подъёмах, а в остальной ежедневной армии отсутствовал лицом.
Курсанты почистили и ушли, а сержант остался.
Ещё стоял сверяясь с отражением... уже не слушал, как в коридоре матюгает кого-то командирская любовь. На десятом месяце не слушают, на десятом месяце сверяются с отражением, пытаюсь установить личность и напомнить ей, что вольер – не навсегда.
Напомнить не удалось, так как установление личности затруднялось немытостью зеркала.
И дым заслонял.

Этот хронический вечер видел строительство развода на плацу.
Какую-то замаятость караула.
Пошатывание штык-ножей над плечом строя.
Меняли пьяного разводящего.
Кто-то не мог стоять смирно и нарушал штиль, падая в недружелюбные руки товарищей.
В армии нет дружелюбных рук.
Но он всё равно падал, потому что пьяный разводящий успел скомандовать ему тридцать раз подряд “крю-ю-у-гом!”, “крю-ю-у-гом!”, “крю-ю-у-гом!”.....
..... и тому отказала способность
стоять смирно.
И его недружелюбно держали.
Недружелюбно, но... держали, потому что кроме любви, сострадания и других светлых окон открытой души есть ещё штамп позора.
Им пропечатывают глухие ставни, он не дает позволить упасть.
Оштампованные позором держали шаткого, злились на себя, на свои недружелюбные руки, которые не могут просто бросить, не могут... не могут, потому что... потому что уж слишком много тогда позора.
Даже перед таким же оштампованным.
Это человеческое... это несмываемая память об идеале... этот штамп, удостоверяет, что идеал есть... где-то есть... зачем-то он всё-таки есть, и, наверно, не для того только, чтобы стыдить опечатанные души.

Вечер хронически видел, как позади отдающего честь караула тихо, вдавившись в тень стены, прошёл сержант, которого никто не задерживал.
Он просочился в музыкалку, затворил и сел.

Но он и тут не заплакал.
Ничего не давшая проверка у туалетного зеркала и теперешняя незаплаканность в тишине затвора образовали ему уверенность, что он не хочет заплакать.

Он не хочет заплакать... не хочет... не хочет жить.

Он не хочет жить.

Но тот, который не хочет жить, больше всего страдает от тирании жизни. Ведь желание жить – это, как раз, мышечное сопротивление ее косной тяжести.

Нежелающий жить – бросивший штангу.

А бросивший штангу получает весь вес на грудь.

Никого так слюнообильно не поедает жизнь, как нежелающего жить.

Всё непосильно ему... даже бремя вдоха.

И нежелающий жить стал писать какую-то белиберду, рифмованное эхо своего индивидуального отчаяния.

Просто, чтобы переместить себя из жизни, которой он не хотел, в менее болезненную сферу.

Есть мнение, что так и возникает поэзия.

Хотя многие оспаривают.

Счастливой приметой нежелавшего жить было данное ему от природы умение забывать общеизвестное и искренне изобретать велосипед. Пить яд, от которого в любой аптечке имеется простейшее противоядие, гореть в огне, который по общему эстетическому договору уже давно задут. Он пил и умирал, горел и корчило его. Ради стремительного желания избавиться от лишних чувств, он легко шел на графоманию, ради увливания от жизни портил бумагу.

Я близко знал его, и хронический вечер из музыкального окошка казался мне отрубленной головой.

Но, как раз, отрубленной головой был я.

Вот и роты протопали на ужин.

Я был отрублен от этого армейского вечера увольнительной, истекавшей в 00.00... т.е. через два часа после вечерней поверки.

Могли, конечно, проверить и ночью.

В большой казарме легко найти того, кому не можешь простить.

Вот и роты – на ужин.

Рты.

А за окошком отрубленный ты.

И лист бумаги с покрашенной на него белибердой.

Сложить, и тоже – на ужин?

Выйти?

Есть ему не хотелось, но – туннель голодной ночи длиннее, чем десять минут за общим столом.

Его ещё раз слепо заметил вечер, но в столовой его заметили уже зряче.

Тут многие взгляды скрестились на потемневшем субъекте.

Кухня глянула: “а... сейчас придёт просить рыбные прижарки!” – и вернулась к раздаче мельканием колпаков.

Роты глянули: “а... небьющий!” – и вернулись к звяканью алюминием об курсантский голод.

Сержанты глянули: *“а... нахлебничек, проводил свою”* – и вернулись к конфискованному у «салабонов» сахару.

Персональный дембельский стол глянул: *“а... хвост замполитский, не хочет, сука, служить!”* – и... обратно внутрь закипевших глаз, ставших газированными от пузырьков ненависти.

Дежурный по части глянул: ...*“Сержант Левит-Броун, сюда подойдите! Вы почему позволяете себе опаздывать? Что строй не для вас... а?”*

Левит-Броун показал увольнительную.

Офицеровы глаза скрипнули.

– Кто давал?

– Капитан Оврученко.

– И по какому случаю?

– Проводить жену.

–ж -ж-е-е-ну!

Все всё понимали.

И он, – что дежурный по части отлично осведомлен о его увольнении (эта информированность входила в процедуру принятия части под суточную ответственность), и дежурный по части, – что он это знает.

Всё совершалось по старой методичке взаимной неприязни.

Офицер раздраженно знал, что не может наказать, но может издеваться, а он стиснуто знал, что хоть и могут над ним издеваться, но не могут наказать.

– Н-ну и как, проводили?

– Да.

Он (про себя) – *“Всё.... разговор исчерпан. Надо отпустить”*.

Дежурный (про себя) – *“Всё разговор исчерпан, надо отпустить.”*

– В роту... товарищ сержант!

– Есть!

С ужина, однако, он не пошёл дразнить роту.

Не потому, что кипение глаз вокруг причиняло ему беду, а потому, что нежелание жить требовало близости.

Он закрылся опять в музыкалке и свет не включил.

Не включил и улыбнулся этой подозрительной своей тенденции эстетически приправлять процесс страдания.

“Хочешь помыкаться при потушенных свечах?... Ну да, глаза ты уже проверил. Не вышло правдиво заплакать, так в темноте, думаешь, убедительнее?!”

Он фиксировал все симптомы настоящего страдания, но вражески внимательный к себе, ловился на постороннем взгляде и думал, что, значит *оно*, наверно, недостаточно велико, раз хватает зренья на посторонний взгляд, а раз *оно* недостаточно велико, думал он, то, может, это вообще не страдание, потому что страдание – это только то, которое достаточно велико... которое не оставляет зрению ни крошки на посторонний взгляд. Он имел ещё дикарство думать, что подлинное страдание несовместимо с жизнью, что само выживание уличает в неподлинности.

Такое разбирательство происходило в темноте «благоустроенной» музыкалки.

Ну... тут и самый глупый читатель поймет, что это уже не армия... это уже какая-то жизнь, коряво выправившая себя из первоначального ада.

Это и была такая жизнь.

Жизнь, в которой есть время разобраться.

И довольно таки обширный вольер.

С музыкалкой даже.
Нет, конечно – армия!
А куда от неё?
Но это была армия второго полугодия... не армия ада – армия неволи.

Раздевался он в уже погашенной роте, стараясь не замечать онанизма, совершавшегося рядом.

Маленький казашонок всей силой зажмуренных глаз верил в освобождение, которое дарует собственная щедрая на ласку рука.

Освобождение от лишних чувств.

Скрип койки под ним прострелил казашонка и мгновенно рассыпал мозаику, уже покрывшую было пленительными смальтами жмуреную перспективу азиатских глаз.

Потом он отвернулся и продолжал стараться не слушать... не слышать орущей тишины затаившегося... не слушать... не услышать того момента, когда произойдёт первое шевеление под гремучим как жесть одеялом.

.....скрип... бегство назад в неподвижность... скрип... сокращённое до минимума движение руки... сокращённое, но неизбежное... скрип... потом осторожная попытка ритма.... ..

Он лежал неподвижно, чтобы дать извергнуться необходимому, не рассыпать опять это трудно искомое сосредоточение.

Казашонок уже начинал мечтать, его возня становилась настойчивой, мозаика восстанавливалась, под раскосыми веками начинало светиться... было уже не до бегства на спасительную обочину неподвижности... диктат ритмического становился беспощаднее, всё призрачней становилась иллюзия свободы...

...потом и совсем исчезла, мозаика сложилась, сверкнули смальты и вспыхнул внутри зажмуренных глаз «обещающий требователь»... Маленький азиат прекратил понимать ночь, перестал прислушиваться к выдававшему его сеточному скрипу... и..... и койка рассказала о непреклонной воле отдать требуемое взамен обещанного.

Он слышал, как ускоряется этот ёрзающий ритм... как хлопает одеяло...

Потом «требователь» вонзил обещанное в центр маленького тела. Оно дугообразно выпятило рану, предсмертно вдохнуло и, прикрыв хриплым кашлем запретное счастье освобождения, отдало требуемое взамен...

Кто-то матюгнул со второго яруса.

Он хорошо знал, как именно всё это происходит... как распадаются остатки казашонка... как доживает отдельную жизнь каждая из сведённых ступней, как возвращается в нормальное положение вывернутая шея... и как всё это теряется, теряется... гаснет... загустевая в остывающем отданном, склеивающем липкие останки с простынями.

Затребовано, празднично выброшено в казённую пододеяльную ночь – и всё.

И никому не нужно.

Только для склеивания.

Спи, казашонок.....

Даже если тебя выдавило как тубик пасты... всё равно спи.

Вернее, тем более спи.

Вернее, просто спи.

Потом и он уснул, уставши думать о пролитом семени, об уехавшей жене, о своём нежелании жить... о завтрашнем подъёме...

Он уснул, ненавидя завтрашний подъём... все наперёд подъёмы, в которых ему предстояло ещё участвовать.

*А мы всё равно когда-нибудь обяЗательно придём!
Мы там все встретимсЯ !
Там найдем заглавную букву, там она ждёт нас всех.
В конце алфавита.
Где уже незачем будет растолковывать собственному
сердцу, что ведь это же было не со мной, так почему
же...???
Всё было.*

** * **

*Отзовите память!
Она не справляется с посольскими обязанностями.
Она грозит недобросовестным представительством прошлого в будущем.
Она лжёт на ухо спящему, а это двойное бесстыдство.
Она подставляет балкон под беззащитную подушку.
Тем более, что балкон уже давно зарос виноградом до неузнаваемости.
Всё заросло до неузнаваемости, если даже допустить, что могло быть когда-
то похоже.
Пианино поменяло позицию.
Оно уже не отрезало от комнаты угол.
И за его ребристой спиной не возился больше отросток в кудряшках.
«Автомбочки» отыграли.
Но обросший балкон наблюдал всё те же революционные праздники.
Под ним регулярно проходил всё тот же, так и не настроивший жековские
духовые, оркестр. Правда, дирижабль отменили, а тряпку, отстиранную в
бочке марксистско-ленинской крови от усатого пятна, прибывали теперь на
горсовет.
И проводили под горсоветом выставки собак.
В ошейниках и медалях.
А внутри дореволюционного дома давно уже не кричалось: “Мира, Мира,... он
щас в майке на работу пойдёт!” И не только потому, что он уже не ходил на
работу в майке, но ещё и потому, что он ходил теперь на другую работу из
другого дома.
Заросший до неузнаваемости балкон уже не помнил, как распорядилось на нём
послевоенное счастье... та самая неправдоподобная удача двух.
Не было больше двух.
Эвакуационная девочка вошла в глубины мирного времени и они сделали с ней
то, чего не могла сделать ни эвакуация, ни сама война.
Да и что вообще может война?
Разве что, прервать молодость.*

А вот состарить... это могут только долгие мирные времена.

Довольно давно наблюдая улицу, балкон знал – успел уже усвоить – что мужья уходят от стареющих жён.

Поэтому он не обвалился, когда однажды утром постаревшая эвакуационная девочка сказала своему завтракающему отrostку: “Мы с твоим отцом решили разойтись”.

Отросток был уже более чем подростком к тому времени, и был он абсолютно глух к сердечным обстоятельствам уважаемых своих родителей, которые успели его к тому времени: он – воспитать, а она – не защитить. Правда, незащищённый-воспитанный побывал всё-таки у отца на работе в тот день и видел, как плакал этот непререкаемый и непререкаемо воспитавший его лысый человек, и не понимал зачем надо покидать жену, если такие слёзы.

Из непререкаемых глаз.

Может и толкало его что-нибудь в грудь, но он не открыл.

Обоих, может, толкало.

Но оба не открыли.

А балкон спрятал оградку ещё глубже в неузнаваемость и, дав несколько трещин, занялся обычным делом тех, у кого всё позади – взглядом назад... то есть в тенистую глубину комнаты.

Там на стенах остались пятна воспоминаний:

какая-то многолетняя радость... жуткий застольный юмор... семейный смех... тихая ненависть обездоленной тёщи... разновысотные отметки кудряшек...

вот выше, ещё выше... а вот изменение участи – тот день, когда недорезанный комсомолец схватил судьбу за самое место... покидание токарного ада, и радость, опять радость семьи...

Когда балкон добирался до плохого, до последних невыносимо молчаливых месяцев, его трещины начинали расширяться.

Поэтому он старался забыться в ласковой игре с рыжим котом, принципиально терзавшим виноградную шубку.

Пусть не будет памяти о невыносимом, регулярно посещающем жизнь людей.

Его треснувшему камню и ржавой ограде хватило короткого безличного знания, что мужья уходят от стареющих жён.

И всё-таки, когда рыжий кот уставали и падал пушистой шкуркой на треснувший цемент, изнутри тенистого мрака на балкон начинало высачиваться плохое и очень личное: какое-то сдавленное молчание двух, уже не находящихся друг друга в привычных лицах... вернее, одну, еще молчащую просьбой, а другого, уже молчащего только нетерпением, только пощадной отсрочкой последних слов... только ожиданием, что она, может быть, скажет их сама.

Балкон семидесятых.

Кусок рыжего меха на потрескавшейся каменной ладони.

*Протянутая для пожатия, но пока не достающая рука повзрослевшего клёна.
Ещё лет восемь – и достанет.
Это недолго.*

Балкон семидесятых.

Накопленная личная боль безличных знаний.

*Уже полная несоотносимость ни с каким “тётмаля, тётмаля”, потому что тот самый Лёнька, которого “трамваем жить оставило”, сшагнул...
вышагнул из мира вот именно этого балкона.*

Но ещё соотносимость с горшковым “бабамаля, бабамаля”... ещё соотносимость по простому и абсурдному факту, по оставшемуся отростку того самого Лёньки, которого трамваем...

Соотносимость по басовитому мальчику, уже показавшему сквозь кудряшки отмени залысин... по лысеющему внучку, которого туберкулёзная «бабамаля» так никогда и не видела.

МУЗЫКАЛКА

А в музыкалке взрослела собака дружбы.

Вечно лишнее своей нежностью животное.

Сама музыкалка сменила себя и раздобрела.

Теперь не сетка отгораживала, не оружейные пирамиды профанно прятали скрюченный и контрабандный сон.

Теперь она обеспечила себя четырьмя стенами и вполне традиционной дверью, потому что стала смешно похожа на давнюю мою позорную каптёрку, потому что, собственно, и была пустующей каптёркой, оружейкиной сестрой по несчастью в безмужней казарме. И был у неё прохладный цементный пол и толстый кишечник радиаторов, севших на стену. Летом они дрыхли, равнодушные и незаметные, а в зиму гневались, отдавая разъярённый жар, душили сгущённым воздухом.

И делали цементный пол горячим даже для обутой ноги.

И делали наледь на обездоленной внешней стороне окошка.

И делали неизбежным раздевание до нательной рубашки, до тапочного босика.

И делали существование беззаботным и небрежным, как у везучих пальцев меховой рукавицы, которые так согрелись и обнаглели в натопленном общежитии, что им спроста теперь и на мороз выскочить.

Но первое наше братство распалось.

Под балкон замполитной челюсти кроме меня смог ещё втиснуться Юра.

Остальных смыло весенним рассылом.

Куда-то понесло Шурика Сторонина вместе с его сопливыми беныками и вечным воспоминанием из гражданской жизни об “как бы её на шкентель

одеть". Он подписал свой приговор на последней (она же была и первой) офицерской свадьбе, сыгранной тем нашим составом.

Напился сразу.

Ничто из данных ранее обещаний, ни из моих молитвенных уговоров, не смогло сдержать этот устрашающий русский порыв.

Я с отвращением и мукой смотрел на его размягчившееся лицо.

В этой алкоголии было столько искренности, столько исполненности, что нельзя было и думать оторвать его от стакана.

Можно ли отъединить зашедшегося до синевы ребенка от шеи матери, которую он потерял в универмаге, и..... вот только что... вот, наконец... когда в маленьком сердце уже сложилась – точнее, проснулась (потревоженная) потерянность навсегда... когда лица схваченных за руку женщин оказались чужими... когда все острия мира...и.....

и.....и вот она возникла из-за чьей-то спины и подставила горячую шею, и можно обнять и спрятать израненное зрение в единственном запахе и тьме единственных волос... дрожать, чувствуя, как покидают сведённое тело все острия мира...

Я так определённо испытал скучную неэффективность слов, что перестал уговаривать, а просто смотрел, как происходит это подписание.

И оно произошло.

Капитан Оврученко зорко заметил шатание, а потом и нестояние.

Участь астраханца была решена.

Ни один замполит не рискнёт оставить под балконом кровельной челюсти кого-то склонного к пропою.

Самоволка и пропой – две большие пугани делающего карьеру замполита.

“Я шяслив... я шяслив, шюваки!” – слюнявил Шурик.

А замполит коротко обозначил и вернулся к столу праздновать лейтенанта Притоку, чья маленькая голубая невеста уже ширилась заметной беременностью.

Мы обступили несчастного, но он не казался несчастным.

Мягкое лицо и слезящиеся глаза, казалось, вполне понимали, что означают скупые и стиснутые капитанские слова: «...не место в учебном подразделении!», но всё равно улыбались.

Глаза Шурика видели свой внутренний праздник и радовались своему внутреннему празднику, прощая весь несогласный свет.

Он продолжал шиплявить невыговаривающиеся «счастлив» и «чуваки», согласно кивая на нашу безутешную ругань и соболезн.

Под присягой выпитого в нем происходило что-то гораздо более серьёзное, чем могла осознать моя еврейская практическая душа.

Он был свободен.

Он падал в короткое счастье минуты, целиком выдернутый из сознания потерянности для удобной дальнейшей службы.

Он был отвязан от забот о завтрашнем страхе, о тайных приготовлениях судьбы.

Он был совершенно закончен в оцепеняющем бытии, не предъявлявшем ему даже требования стоять.

Мой милый астраханец!

Как ни далеко друг от друга будем мы умирать, наши души затихнут в зримой близости.

А может, ты уже спился и умер?

Но всё равно... весенним рассылом.

Упакованного в вещмешок и шинельную скатку, его больно было видеть на плацу.

Опять перепуганный, опять смятый надвигающейся страшной новизной, стоял этот никакой не солдат в смирном строевом чине.

Как в первые призывные дни, эти лица обозначали отчаяние – потерянность, вопрос... молитву о не слишком тяжелом будущем, прощание с чертогом привычной тюрьмы.

Но прощание лишь в ожидании новой.

Вообще-то, их всех ждала отменно пузатая доля.

Санинструкторами – на медпунктах: «спи – не хочу» и спиртику всегда по санитарной норме.

Но в подступившем моменте отсыла неведомо куда, они черпнули страх, и даже против смысла побледнели.

Я видел с обочины его испуганный взгляд.

В нем кричало униженное “зачем я напился”, и этот чистый пасс перед собственным безволием вновь вызвал во мне муку и отвращение.

Там было так мало самолюбия, так много согбенного каяния, так безусловно принималось наказание и так светилась непозволительная мечта о снисхождении...

Нет, можно сознавать грех... можно даже впасть в гордость, но это признание вины и просьба пощадить?.....

В одном и том же взгляде?.....

Его смыло весенним рассылом.

Я видел это сбоку, и не интересовало, куда именно его понесло.

Вон из моей и по стремнине его таинственной жизни.

Краткая перекрестность судеб уходила в прошлое.

Торжествовали дальние берега.

Несоединимые.

Я видел сбоку, и не интересовало, куда его понесло...и не приходило – что вовсе я его не знал.

Только репетиции, да общие танцы в Анастасьевке.

Мы служили в разных ротах и сбегались на наши музыкальные паузы из разных собачьих миров. Допустим, я – из мира доберманов, а он – ризеншнауцеров.

Но укусы, даже от разного прикуса, очень похоже болят.

Вот этим я его и знал.

Следами зубов и сходством боли.

А Литвинова смыло незаметно.

Уж очень много носил он в себе шабашности, без которой Шурик Сторонин был так изумительно незамысловат и алкоголен. Осторожная порядочность свердловского интеллигента оставила нас на приятельской дистанции.

Не допустила до дружбы.

Да что это, вообще, такое – дружба?

Растет себе собака.

Как сорняк.

Я лично, никогда не считал это животное за своё.

Но теперь припоминаю, что шевеление в углу всегда совпадало с началом грусти, часто, увы! незамеченной, потому что постоянный наконечник любви в груди причинял беспромежуточные физические страдания.
А эта грусть не была физической, хотя и слышимой.
Как шевеление в углу.

Весенний плац, с которого смыло Шуру Сторонина, по всем признакам моего тогдашнего спазма в ожидании жены, не должен был быть замечен.
Но был... был запомнен, и через много лет заглохших спазмов и удалённого наконечника продолжает издавать тихий свет собачьего взгляда, в котором мирно живут, как молочные щенки, признание вины и просьба о снисхождении.

Распалось братство и мы остались вдвоем.
Тихо заселили новую музыкалку, простили ей невыносимый зимний жар, нежно полюбили её за утишие от ротного грома, за даруемую возможность скрыться хоть на время от свинских рож, с которыми судьба нас поставила в один беспощадный ряд.
А скоро попригнали новый призыв, и мы с Юрой отделили себе несколько музыкальных мальчишеских голов. Этим не предстояло защищать честь батальона на ежегодном смотре. До февраля следующего года давно иссякнет их адовое полугодие, так что и мотива, вроде бы, не складывалось, но на наше счастье замполиту понравилось иметь в батальоне постоянно действующий муз.коллектив.

Те ещё не успели понять себя от нежданного счастья, как пришли ко мне в гусиной коже угроз.
Стая оскалилась на них без промедления.
Кому-то пообещали – “Только попробуй мне в музыканты....запаху, салабон х..ев!”, а кому-то – просто «бойню». «Запахать» – означало на нашем языке загнать строго по уставу, т.е. суточный наряд + индивидуальная обработка отбой-подъёмом + штрафные наряды на уборку за счёт ночного сна.
... + вся остальная армия по общему распорядку.
Ну а «бойня» – это туалет, где учат сапогами по рёбрам и головой об умывальник.
Это мы уже проходили.

Нет, конечно туалета не будет.
Это я понимал уже приобретённым опытом.
Сержантская резвость тоже знает края.
Особенно после зимнего тыка штык-ножами в корпус курсанта Субботина.
Тогдашнее разжалование Рыбакова и Пробста сильно остепенило страстную педагогику младшего комсостава.
А вот попытка «запахать», загнать по уставу, будет.
И это я тоже понимал свежей памятью близости с «машкой», бритвенных бдений в туалете и приседаний у тазика с мылом.
Будет попытка.
Но она будет и без музыки.
И просто курсантами их тоже постараются «запахать».
Такова инфекционная логика отместки.
Понимал.
И успокоил их, что, мол, не дадим в окончательную обиду.

...дадим, мальчики... дадим!
Не бывает армии без обиды.
Не бывает необидного рабства.
Даже если рабство оправдано нуждами воинствующего патриотизма...
Просто потому что вообще нет оправдания власти одного над другим.
Это я тоже понимал.
И успокоил.

* * *

Успокоить.
Чтобы потом смотреть, как его поведут к месту, положат и начнут прибивать.
И думать о том, как любое рабство завершается мстительным господством... как оно подымает львиную морду в поиске нового раба.
Думай, думай... властитель собственных дум!
До какой же степени он... ОН.... смешал языки, если даже на одном нет понятия!
А может, именно это?
Может, неспособность объясниться на одном и есть подлинное смешение?
Ведь на разных – доверяют выражению лица, улыбке и гримасе гнева, простому движению рук к себе или от себя...
На одном – и гримасничают, и улыбаются, и руками движут, а слушают всё равно слова.
Может быть, именно так и было?
Стояли и спали под одним небом... вышку строили, а потом понаделали землянок, чтоб теплее, и уже там, в сыром нутре каждой отдельной норы, чтобы не ошибиться в тёплом тесне, договорились, как всё это называть.
В каждой отдельной сырости образовали липкий комок определений и стали пользоваться ртами не для улыбки личной растерянности и вынужденной доброты, а для артикулирования общих определений, которые дробились на частные, мельчились, путались и неравномерно распределяясь в более и менее узких ртах, кривили их надругательным оскалом эго. Одних кривило превосходством, других – ущербностью, но под тотальной властью эго было уже не до работы. Вселенское дело рассыпалось на карикатурные амбиции личных ртов, произносящих общие понятия. Свобода единства в ЕГО замысле осела крошкой теоретически обоснованных рабств и господств, завистей и торжеств, и, может быть, там, в сыром нутре тёплого тесна, родилась первая мысль, и она была – уронить камень, передаваемый из рук в руки, на ногу соседу...
И когда все задумавшие уронили, вселенское рассыпалось.
Может быть, ОН как раз хотел, чтобы достроили вышку?

* * *

На первых репетициях они были сами не свои.

Я узнавал.

В искривленном алфавите их лиц читался неумело зашифрованный ужас.

Мы оба, я и Юра, весенние сержанты, только-только вышагнувшие из адского круга, опять увидели сапожный инферно, разыгранный в постановке очередного призыва. Но две роли в этой постановке били особенно больно: наши музыкальные ребята и сюрпризники, получившие сержантов вместе с нами.

Я вообще-то не очень вглядывался во всю эту тень.

Ведь то было лето осуществленного смысла, и моя собственная глубоко раненая жизнь заслоняла мне (как обычно!) чужие беды.

Но в перерывах репетиций, когда они одичало ели крошащийся хлеб, смазанный принесенным Юрой маслом, когда они подолгу не могли вынуть бутылку лимонада из скрюченных пальцев друг друга, когда они жались вокруг одной папиросы «Прибой» – мы опускали глаза.

А разве нет?

... нам неловко было видеть со стороны самих себя, предъявленных друг другу в таком подлинном безыскусственном «вчера».

А в роту возвращались и не понимали вообще ничего.

Словно там только и готовили все эти жуткие месяцы цепного зверя.

Дрессировали.

Горячили на цепи.

А теперь спустили.

Часто мы заставляли своих музыкальных ребят в обработке: на корточках у таза или с «машкой» в поту. И гоняли их, главным образом, не пресыщенные «фазаны» (служащие третьего полугодия), не усталые «дедушки», сосредоточенно готовившие значки стрелковой меткости и шофёрской классности для дембельских кителей, а «молодые»... только что допущенные к измятому телу старухи-власти.

– Слушай, Панин, оставил бы ты это. Он же уже зелёный!

– А мне пох..й! Вот заступишь дежурным по роте, бери его дневальным и пусть он у тебя целые сутки спит. А ты за него будешь «машку» тащить!

– Да сам же на этом полу надрывался!

– Ничего, ничего... ему на пользу пойдет! Правильно я говорю? А ну, встать, товарищ курсант! Я правильно говорю?

Жертва подымалась на шатающихся от забытости ногах.

С рук стекала грязная тряпка.

– Так точно, товарищ сержант!

Но он смотрел на меня.

В его глазах была мольба: “Уйдите, прошу вас... Каждое слово вашей бесполезной защиты – это лишний час истязания в очередном бесполезном приказе”.

Я уходил, а за моей спиной продолжала разыгрываться армия:

– Ну-ка, воин, замени-ка воду в тазике! А то я что-то дна уже не

вижу! Живее... да живее, я сказал! Би-и-го-о-ом! В армии пешком не ходят!

И пришла зима.

На Дальнем зима приходит быстро, но всё-таки не так, как получается на моём языке.

* * *

Сидел в конце России ненужный патриот.
Заглавная буква лежала перед ним на подоконнике развернутой тетрадью с
накрашенной на страницы белибердой.
Тропическая стена дышавших гневом змей загоняла его в противоположный
угол.
Опухшее от наледи окно было живительным холодильником.

Сидел в конце России.
Подсчитывал сроки.
Они казались вечными.
Пытался рассмотреть сквозь ледяную линзу окна растрёпанное чудовище, всё
так же медленно лежавшее вокруг лицом вниз.
Только плечо притворилось сугробом.
Остальное необозримо ушло под снег, прикинувшись почвой и поставив на
спину для убедительности наш батальон с окружающей тайгой.
Сидя в персональном, так сказать, кабинете, думал о том, как недостаточны
маленькие радости, когда стих большой ад.
И что такое – большой ад?
Ревущая казарма или вот это сидение у линзы окна, за которым нет свободы?
И что такое свобода?
Вернее, что такое несвобода?
Невольность хода, ограниченного КПП?
Невольность видеть целое моржище лишних лиц?
Или не вольность опустить лицо в горячий сумрак любимой?
(Струна нашей связи не провисла после её отъезда. Даже ещё более звенела
неутолённостью страстных исканий).
И что такое – маленькие радости?
Стул за закрытой дверью, который легко передвигается от разгневанной стены
до выпуклого окошка?
Ежедневный корм жданного письма?
Ключик от музыкалки в кармане, утешительно напоминающий бедру о
возможности отделить персональную пайку неволи от черствого кирпича
заглушающей саму себя армии?
Или собака дружбы, встававшая из своего угла, когда Юра приходил в
музыкалку, и внимательно стоявшая между нами, говорившими серьезно и
уже нежно или евшими из одной посылки?
Мать его была проста и присылала неизобретательные посылки с колбасами
домашнего копчения и прочим гражданским праздником.
И мы ели из них и угощали наших музыкальных ребят, уже других, опять
новых... зимних, принесших свежий испуг вслед улетевшим летним птенцам.
Оврученко приходил.

Даже третье полугодие не поселило в нем полного покоя. Он понимал, конечно, что моя ответственность сбоя не даст, но всё-таки приходил – вдруг что?.....
Очень беспокоился и переспрашивал, обнаружив наколотую на стенку “Мону Лизу”.
Я тогда даже со смехом (хоть и замполит) его уверил, что это только для зрения, дескать, Леонардо... гражданское воспоминание и..... собственно так и не понял напряжённости вопроса. А теперь думаю, не заподозрил ли он у нас в музыкалке группового онанизма. Заглядывал он и в коробочку и досконально выяснял, зачем я храню пухлую пачку и почему не отдал письма жене. А я отдал, но уже наприходило новых.

ОФИЦЕРЫ

Вторая зима окрасилась тёмной зеленью офицерских мундиров.

Курсанту не до звёзд.

Трезубец сержантских лычек, беспрерывно приставленный к горлу, делает весь остальной недоброжелательный мир равно далеким и спасительным. А и то...куда бежать, когда в тебя тыкают с двух сторон зачехленными штык-ножами?

Конечно – в штаб.

А там, конечно, офицеры, и ты, конечно, прибегнешь, потому что кроме сержантов и офицеров в армии вообще никого нет.

Ни избавителей, ни палачей.

В сравнении с неуголимой волчиной сержантской лютости эти видимо взрослые люди с часто встречающейся уже сединой выглядят всё-таки людьми.

Может быть, раненому зверю, когда отнимают рычащую свору и подходят охотники, тоже кажется – всё-таки люди.

Может, он так и умирает с благодарностью избавителям, не успев заметить того из них, который подошел со спины и помог ему охотничим ножом.

Но когда мы вышагнули из большого ада и встали в немногочисленный строй младшего комсостава, когда был отнят от горла трезубец, сплошная масса окружающего мира офицеров рассыпалась на отдельные звёзды и оттенки более или менее линялых кителей.

Рассыпалась для всех, кроме меня.

В лето осуществленного смысла я не сумел ничего различить.

Мне офицерские пороги создали такую непрерывную муку ежедневной просьбы, что...

А станет ли радостней, когда отнимут трезубец от горла, на которое уже накинута петля?

Заклинание «Разрешите, товарищ сержант!» лишь сменилось другим «Разрешите, товарищ лейтенант?!» – и эта мольба уравнила для меня офицеров с сержантами одинаково судорожной зависимостью от их сволочизма и милосердия.

Отчаянные месяцы поправимых нелепостей, как и предшествующий полугодовой инферно, упирались в пощаду, а это очень невыгодная позиция для созерцания окружающего мира.

Потому что он беспощаден.

Но вторая зима окрасилась.

Защищённый уже сержантством от рычащей своры лычечников (сам стал лычечником!), освобождённый отъездом жены от ежедневной штабной мольбы, я рассматривал окружающий мир, увеличенный ледяной линзой музыкального окошка.

Их было гораздо больше, чем те непосредственные Смолин, Мисеев и Клинов, которые вплотную стерегли мою неволю. Этим троих, периодически прораставших гневным намерением упорядочить моё анархическое музыкантское житьё, аккуратно срезало ковшом замполитной челюсти. Но те, другие, – их я лишь теперь сумел распознать под линзой относительной созерцательности.

Этажом ниже командовал своей ротой лейтенант Муравцев.

Очень большой и мясистый квадрат его лица имел скруглённые углы, и все черты, включая губы, тоже по углам скруглялись.

Наше повышение произошло одновременно.

Он получил командира роты в ту же весну, что я – сержанта.

И стал жестоким.

Превращение отразилось в брезгливых лицах сослуживцев, из компании которых он выскочил везучим мыльным пузырьём.

Теперь его сигарета курилась отдельно от общего дыма командиров взводов, и голос его стал раздраженно повелительным, начинавшим сразу с нетерпеливой ноты. Его стало лихорадить той специфической поспешностью, которую легко заметить у человека, поймавшего случайный шанс.

Он был военным медиком, как и всё ротное офицерство, кроме замполита и замкомстроя. То есть, как и все ребята, ошибкой или слабостью загнанные в военную медицину, не имел первоначальной воли надеть портупею. Я еще помнил его в кучке лейтенантиков, ласкавших общую горячую обиду на жизнь, так подло обошедшуюся с их гражданской молодостью. Но однажды его вызвали в штаб и назвали командиром роты, и из яйца обычной безнадежности потерявшего свободу вылупился змеёнок карьеры.

“Уже если так ... так хоть так!”, – обычный ход мысли заключенного, получившего неожиданность стать десятником. Тюремная лестница – тоже карьера, и на её решётчатых ступеньках тоже рассыпаны преимущества больших или меньших удобств, а главное большей или меньшей власти. Ценности карьеры вообще лучше всего улавливаются в тюрьме, где сама карьера начинается с отъятия свободы. Ведь в несвободе как раз и остается только бороться за власть. Не потому ли так напоминает тюремную прогулку карьерный бег всех самолюбивых мустангов.

Он стал жесток со своими.

– Командиры взводов ко мне!

.....рапорты, рапорты.....

– Почему обращаетесь не по форме, товарищ лейтенант?

– Муравцев, кончай вы..бываться!

– Отставить! Обратиться по форме!

Напротив растерянные глаза...потом – злые.

Под мясистой скруглённостью нащупалось твёрдое.

Случайный шанс начал свою долгую работу формовки скелета.

Будешь... будешь ты комбатом и полковником будешь, лейтенант Муравцев!

И купишь ты всё это сравнительно недорого – двадцатью пятью годами принудительной прогулки.

По кругу.

Я знал, какой отвратительный дух искожного выслуживания царил в его роте.

Даже самых ретивых тошнило.

Но Муравцев не замечал и командировал с такой серьёзностью, словно он первый стоял на цыпочках на этой шаткой табуретке, натужно протянутый вверх за очередной звёздочкой.

Он часто потел и напоминал пожилой возраст собственной матери.

В нетерпеливости его, в раздраженной глумливости, звучало чувство отрыва и программа на чем дальше, тем всё больший обгон. Как во всяком, кто решил сделать карьеру, в нём не было и следа иронии, поэтому, – хоть и не садист, как Смолин, – он вил из своей роты куда более тугие веревки.

А Смолин витийствовал матерно, тайно пил с сержантами и насмешливой маской красного носа и запотевших очков воцарял в роте дух озорного насилия. Он был зол, но на жизнь, а не на армию, которой просто манкировал. А злобу он возвращал жизни в беге на Сопку Любви... в нескрываемой ненависти ко мне и Юре, небеглым и непрыглым лентяям, «дохликам» или, как он выражался, «трупам».

Над офицерами Смолин пошучивал.

Высшая военно-медицинская академия в нём с сомнением относилась к стандартному диплому военмеда, а строевиков... тех он просто презирал:

“...Что за офицеры нынче? Ходят как хотят, носок не тянут, от поворота кругом чуть не падают, рука на рапорте дрожит!”

Когда он прочёркивал дорожку строевого шага от замершего корпуса роты до оплывшего комбата, плац вздрагивал под каждой кованой его стопой, как спина под плёткой.

Звенел кремлёвский полк... все семь часов ежедневной строевой подготовки...

...по бетону... по бетону... по брусчатке... по брусчат...

...сквозь Спасские и налево к маленькому полированному зиккурату... хрсть-два, хрсть-два... чтобы вся эта сволочь обернулась, когда мы идём охранять главное наше, бесценное наше сокровище, наше святое... наш несгниваемый смысл...

Когда он прочёркивал дорожку строевого шага, жалкими казались не только рыхло вылепленные ротные ряды, не только офицерство, смешное разнопузостью и индивидуальным дефектом позвоночника, – жалок был и тот несчастный, которому на блюдце стальной ладони, недвижно приставленной к козырьку, несли этот лютый рапорт.

...хрусь-два: **“Товарищ майор! Личный состав для строевого смотра построен! Дежурный по части, лейтенант Смолин!”** – хрусь-два...

В ответ доносилось что-то невнятное, что должно было означать “Здравствуйте, товарищи курсанты!” – потом наш разноголосый и неуверенный ответ:

”Здрав...жав...тов...” – короткий обрыв магнитофонной ленты, потом хилое нестроевое “Вольно!”, и сразу на включенном звуке хлёткое, как оплеуха, смолинское – **“ВОЛЬНО!”**

Когда он прочёркивал – всё было в нём монолитно кроме очков, собиравшихся, как-будто бы упасть... отпасть, как неуместная гражданская слабость, от этого до конца военного шагающего механизма.

Даже мы с Юрой, большие нелюбители Смолина, чувствовали радостный ужас.

Сердца сладко индевели от этой абсолютной дрессированной силы.

От маленькой шагающей части огромной абсолютно дрессированной силы, которая давно уже сберегает в холодильнике восторженного инея доверчивые русские сердца.

На плацу Смолин был демоном выправки, неприятно напоминая народному офицерству, что было когда-то в России племя в эполетах.

Несоразмерен он был и в свободном общении с коллегами.

Небрежная шутка, случайные воспоминания об академии, о «петербургском житье», о посещениях «императорского» театра: “...ах, Меркулова – вот это было фуэте! А слава Черкезова дутая! Нет, манера конечно, у него отменная, но настоящего баллона никогда не имел. Зато уж педрила был всероссийский! Это, доложу я вам, что-то особенное... Однажды на «Лебедином» умудрился дружка своего, Федьку Рудлевского, прямо за кулисами выпрыгнуть, и что характерно... к выходу успел. Спился совсем! Когда я выпускался, он уже почти не танцевал...”

Куда тут первобытному Клинову или посредственному Мисееву.

Куда им до этой аристократически-непринуждённой «светскости»...

Только и оставалось, что стиснуть комплексы до сощуренной воли выжить.

Зато они презирали Смолина за алкоголь, за престарелое лейтенантство, за явно проигрываемый погонный покер.

Презирали и муравьино делали свое дело, глядя в пол.

Мисеев занимался оружием.

Периодически наведывался в ротную оружейку, глядел в стволы и отдавал команду тому или другому взводу чистить.

“Внимание, второй взвод – форма голый торс! Построиться у оружейной комнаты!” – это уже командовал сержант, получивший взбучку от зам.ком.строя.

Лязг замков, хлопающие дверцы, ветошь... сверкающий пищевод ствола, (когда заглянешь в него на свет после чистки). Спина помнит неудобный рельеф пирамид, о которые надо было опираться, развалив ноги по полу, а разобранный АКМ – между ног.

Раза три-четыре я чистил оружие курсантом, но тогда я ещё не понимал, кто именно отдаёт эти команды.

Теперь я знал, что это вотчина Мисеева.

Теперь, когда уже не надо было чистить.

Вообще-то сержанты тоже должны участвовать в чистке оружия, – армия культивирует старую традицию интимных отношений бойца с его личным автоматом.

Но учебка хитра.
Всегда можно передоверить свой АКМ радивому курсанту из твоего же отделения.
Он сделает отлично, потому что – страх.
И свежий подворотничок тоже отлично подошьёт.
К своему и к твоему кителю.
А если надо, то и прогладит.
И сапоги...
Потому что – страх.
Курсантский страх нужен всем.
В нём – порядок казармы, спокойный сон офицерского городка, в нём – управляемость всей этой громоздкой бессмыслицы.
Поэтому добрый сержант – плохой сержант.
Даже если и перестарается какой-нибудь хохол или кацап в лычках, и отчаявшийся грузинский мальчик при получении оружия для заступления в караул всадит в него пол-рожка образца 1943 года, всё равно, цепной лай – единственный рычаг дисциплины.
Замполиты борются с начальственными злоупотреблениями в армии, но внутренне и они поощряют сержантский произвол.
Ведь и им хочется спокойно спать.
А как заснёшь спокойно, если стадо не стерегут волкодавы.

Но Клинов не поощрял.
Этот пухлый дебил имел совесть в детски нежных щеках, и она багровела, когда он кричал на какого-нибудь «перестаравшегося», которого застучал в минуту сладкого контакта с воспитуемым.
А еще она багровела, когда Смолин развесисто матюгал канцелярию или вспоминал педерастические подробности «императорских кулис».
Клинов проводил политзанятия роты и отдельно занимался с сержантами.
Слово «занимался» здесь имеет чисто символическое употребление.
Мы открыто издевались над ним.
Да и трудно было сдерживать смех, когда он в очередной раз натыкался на слово социализм или капитализм. Всё у него кончалось на “изъм”, и в этом неискоренимом мягком знаке барахталась столь дикая глубинка, которая и сегодня, казалось, способна была создать партизанский отряд за власть Советов под гордым девизом «Немедленное торжество».
Мы издевались, а он угрюмо повествовал о причинах нашего объективного превосходства над «ними», смущённо одёргивал слишком развязного остряка, замечавшего вслух, что “ещё не во всём пока”. Говорил он, как правило, в стол, часто кашлял, заполняя бесконечные паузы мысли, расползавшейся по швам, не любил, казалось, ничего в армии, ни офицерское похабство, ни сержантский садизм, ни беспомощную курсантскую возню.
Он верил в какую-то абстрактную армию, собравшуюся на защиту идей и границ.
Он доисторически любил людей и защищал каждого от каждого, вернее, пробовал защитить всех от всех.
Меня он два года грозился засадить на гауптвахту, а засадил, всё-таки, Смолин.

Еще два кителя в нашей роте были примечательны общим лейтенантским созвездием и разным отливом.

Рощин и Сальников служили, не разжимая стиснутых зубов и почти не снимая полевой формы. Они оба одинаково не верили в армию, оба были жертвами одного и того же силка, оба ненавидели каждый следующий свой день из ещё только начавшихся двадцати пяти офицерских лет.

... «вода и камень... не столь различны»...

Они и правда сошлись, как Ленский и Онегин, придиричивой “взаимной разнотою”.

Тонкий блондин с красивым невыразительным русским лицом и большой неуклюжий человек, плохо владевший строевым шагом. Оба носили усы, но так же разное, как и форму, торчавшую колом на Рощине и любовно облегшую пружинистый сальниковский рост. Усы на блондине были светлые, исполненные с почти незаметным щегольством, как будто бы летевшие в разные стороны от скорого движения. У Рощина усы торчали вперед потрёпанной сапожной щёткой, никуда не летели, наоборот, были окончательно и навсегда здесь. Сальников входил и оставался, но хоть и долгое, его присутствие всегда казалось мимолётным. Рощин заглядывал на минутку, но возникало ощущение тяжелого присутствия навсегда. Ненавидел он открыто, Смолину отвечал довольно дерзко, к сержантам своим относился только по мере надобности, а курсантов... курсантов третировал как извечную «темноту» за поголовное незнание географии.

Я думаю, глобус что-то замалчивал о его несостоявшемся.

Возможно, он в юности бредил далекими берегами, может, хотел обойти зеленый мир, как Гумилев...

Теперь он сидел в учебном классе и злобно удостоверять невежество испуганных мальчиков, которые под обрушившейся на них армией окончательно забыли то, чего никогда толком не знали.

– Ну-ка, курсант (он почти всегда тыкал пальцем), покажи мне море Фиджи? Интересовавшие его места были так искусно спрятаны на карте, что... впрочем, я сам невежда. Может быть, потому мне так и казалось.

Курсантом я столкнулся с ним случайно.

Мой комвзвода Бугай нездоровил, и второй взвод соединили с первым для очередных занятий. Тогда-то я и увидел, как Рощин, еще непонятный мне командир первого взвода, с удовольствием позорит ребят у карты обоих полушарий.

Я ожидал своей очереди с ужасом, неукротимо нараставшим не от предстоящего неминуемого стыда, а оттого, что, издеваясь над непросвещённостью зауральских и казахских голов, Рощин глазами обращался ко мне. Говорящий почти всегда избирает кого-то, кто олицетворяет ему аудиторию. Видимо, мои круглые глаза под зонтиком лысины казались ему самыми уютными для внутреннего диалога. “Ну... как тебе нравится это жлобье?!” – говорил его взгляд с весёлой злинкой. Что он избрал меня, было естественно.

Он после своего военмеда и я после моего неоконченного художественного загремели одновременно на Дальний Восток.

Мы были почти стариками среди гурьбы восемнадцатилетних.

К тому же евреев из Киева не так уж и много накидано по Дальнему, а еврей из Киева, да ещё и под зонтиком лысины, да ещё и с неоконченным высшим (это было известно в батальоне и, кроме того, легко угадывалось по возрасту)...

– Ну ладно! Где море Фиджи – это я и сам знаю. Покажи нам тогда где Канада?

Это был худший из позоров – позор самоочевидности, но затравленному жителю Советской Азии часто и Канада была не в глазу.

– Хорошо, курсант, отставь Канаду! Покажи нам быстро где Северная Америка и где Южная, и можешь отправляться на своё место!...

Несчастный горел стыдом, мучительно прятал глаза и тыкал струганой указкой в необозримость Западного полушария, а между моими зрачками и зрачками Рощина происходил следующий короткий разговор:

“Ну... видел ты когда-нибудь такое быдло?” – спрашивали его карие.

“О да, такое не каждый день увидишь!” – отвечали мои, не знаю какие.

“А мне на «такое» – еще двадцать лет каждый день!” – его.

“Увы!... как я тебя понимаю!” – мои.

Так говорили мы, значительно и молча, но ужас неукротимо рос.

Вот сейчас ему взбредёт в голову постыдить «такое быдло» культурным человеком, он вызовет меня и...

Нет... Канаду бы я показал навскидку, но море Фиджи...

Так он и не востребовал меня к биноклю карты.

За это ему от меня и по сей день глубокая благодарность.

Я даже фантазировал потом, что беседуя со мной глазами, Рощин догадался – я тоже не знаю, где прячется море Фиджи.

Понял, но пощадил.

А, может быть, понял и пощадил.

«И» тут было бы очень важной деталью, так как означало бы, что он оценил всё остальное не подвергать позору.

Сальникова я знал ещё менее близко, только по общим его появлениям в роте да еще по Юриным рассказам. Сальников был командиром четвёртого взвода, где Юра служил курсантом, а потом остался командиром отделения.

И было у меня такое впечатление, что Сальникова вообще невозможно знать близко. В этом стройном лейтенанте не было ничего особенного, ничего из того, что можно близко знать.

Ни одного углубления, достаточного для близких знаний.

Он был утончён молодостью и обаятелен, как свежая только что натянутая струна.

И звучал бессмысленно и чисто, как струна, не перечёркнутая смычком.

Впархивая в роту, он не вносил ничего, кроме красоты линий, легких движений сверкавшего сапога, казавшегося балетным на невесомой ноге.

Где-то за пределами батальона пролегла дружба, приводившая их в казарму одной дорогой.

Появление одного было характерно присутствием где-то поблизости другого.

– Пошли?

– Пошли!

Они и уходили вместе.

А куда?

Куда могли идти вместе эти два человека, один из которых был как манжет сорочки, вечно исчезающий в слишком длинном пиджачном рукаве, а другой – как столбик посреди подворотни, куда запрещён въезд транспорту.

Может быть, Сальников был светлым крылом, не дававшим всмятку упасть столь тяжело отчаявшемуся?

Может быть, Роцин был камнем, в злобной горечи которого больше смысла, чем...

А может, тяжесть одного помогала другому не стать пленником ветра. Когда мы были курсантами, Сальников, как и многие молодые офицеры, ещё ждал в гарнизон жену, а Роцин уже ждал сына от жены, делившей с ним таёжное счастье.

Когда мы получили сержантов, Сальников дождался жены, а Роцин – сына. И стал ещё угрюмей.

А тот – совсем лёгким и никаким.

*чуть больше веса в камне
чуть больше воздуха в пухе крыла*

“Допустим, некому было дать разумный совет!” – мы сидели с ним по разные стороны стола в батальонной столовой.

Я дежурил по кухне, а он, как дежурный по части, пришел снимать пробу с ужина.

Так это называлось – «снимать пробу».

Дежурный офицер – заложник повара.

Если тому взбредёт в голову отравить войсковую часть, лейтенант Роцин вкусит смерть первым.

Мы сидели по разные стороны, и я слушал его глухую ярость на всю эту ё...ную жизнь плюс жена, у которой уже живот как доска. И когда чаша глупости моей переполнилась, я спросил: “Так зачем же тогда это всё... эти погоны?”

Он посмотрел на меня так, как смотрит повешенный, в доме которого заговорили о пеньковом деле, и сказал: “Допустим... некому было дать разумный совет!”

Как будто дал себе пощёчину.

А с Сальниковым так я и не заговорил.

Словно он служил не рядом, словно не был другом человека, с которым мне не раз пришлось вступать в словесность.

Я не сказал с ним ни одного настоящего слова, хотя именно от него узнал, как задёргивается этот силок, как формирует Советская Армия свою военную медицину.

– Я-то хоть из дурацкой семьи. Мне так и надо, а других заставляют!

Он рассказывал Юре о своём военном отце, о семейной традиции, о врождённых погончиках, которыми забавлялся до тех пор, пока они не впились клешнями ему в плечи.

Он рассказывал Юре, присев на гладильный стол в бытовке.

Рассказывал Юре, своему сержанту, с которым был и близок и как-то сохож. Может быть, изяществом молодости...

– Мне с детства голову проели: защитник Родины, защитник Родины!

В его речи не было отчаяния.

Он и злился легко...

Так же невесомо, как и ходил.

– Я за папино воспитание отдуваюсь, – продолжал он, даже посмеиваясь, – а они все?..

И поведал, как наступает на ничего не подозревающего студента-медика конец четвёртого курса.

Весна... и с кем-нибудь в постели... или в загуле с собратями по будущему ношу... и тут вызывают в деканат, и: “Вот – *говорят* – не хотите ли, товарищ, перейти на военмед? Там – *говорят* – очень интересно, и звание по окончании – минимум лейтенант!” А он, конечно, не соглашается, потому что на хрен оно ему уселось, а они тогда ему, что...

...тут, *мол*, у вас, товарищ, академзадолженность имеется, так что вы лучше соглашайтесь, а то – обеспечиваем вам несдачу очередной сессии (они так и *говорят* «обеспечиваем несдачу») и вылетаете из института. А жалко... четыре года, всё-таки!...

Он, бедный, начинает метаться, а они его – к стене жать.

Успевающих они не вызывают, а тот план, что им военкомат через горком спускает, выполняют гуляками и бездарностями.

А среди бездарностей, кстати, и желающие находятся.

Которые уже смекнули, что в нормальной медицине им глухо.

Так и пополняются кадрами медвойска из тех, у которых шприц из рук вываливается, или тех, у кого нервы сдали.

Всё это он рассказывал Юре, сидя на гладильном столе в бытовке и отражаясь в зеркале, в котором я брился.

То ли в отражении потерялось, то ли и не было... но не заметил я в его красивом лице следов внутренней тюрьмы. Поругивался он, раздраженно кривил острящий рот, но настоящей драмы не было. Под бойким корабликом раздражения ощущался надежный штиль конформизма и, в конечном счете, просто равнодушия к судьбе, в которой ничего особенного и не предвиделось. Зато совсем иначе припомнилось рощинское: “Допустим, некому было дать разумный совет!” Он не похож был на очень-то прилежного и вполне мог оказаться жертвой такого шантажа, а совет дать было некому. Ну некому было дать совет бежать без оглядки... бежать... если надо даже ценой диплома, потому что военмед не диплом выдает, а цепь длиной в двадцать пять лучших лет с кольцом сквозь носовую перегородку.

И к окоченелости повешенного пририсовалась живая и вечно гниющая ссадина непоправимой ошибки, которую, возможно, Роцин успокаивал злобой и мелкой мстительностью – «географическим садизмом».

Да не только этим.

Он был не прочь подраться с хамоватым сержантом, он не носил типично офицерского гонора дистанции.

Он чувствовал себя не только равным, но и глубоко ущемлённым по сравнению с нами, двухлетними залётными в его бессрочное проклятие.

Мою симпатию смущало странное сочетание в нем презрения к “этому жлобью” с периодическими позывами вступить в рукопашные отношения.

Он был большой и наверняка сильный, сапоги пыхтели под самоварами его икр, и однажды, проходя через КПП, я видел, как стояли друг против друга сержант Атанов и дежурный по части лейтенант Роцин. Невозможно было определить на взгляд, кому из них труднее сдерживать кулачную ласку.

Эти крайности его души говорили мне о скрытой и постоянной неврастении боли, о незаживающей ссадине. Эти крайности намекали на содержание зависти в его ненависти, допуская столь очевидную неадекватность – от презрения до драки.

Сальников служил, не разжимая внешних зубов раздражения, Роцин – внутренних зубов прикушенного локтя.

Одного провоцировали на безучастное злословие повседневные армейские неудобства, другого грыз крот глубокой несвободы, ужасавшей моё воображение.

Двадцать пять лет невыносимой очевидности, двадцать пять раз по триста шестьдесят пять первых дней...

Моё заточение казалось мне карликом... становилось горячо от счастливого сопоставления.

“Бедные, обманутые ребята.....”

Они служили, почти не снимая полевой формы...

...бедные, обманутые ребята... вам обещали лечебную работу... да?... родную вашу терапию и хирургию в госпиталях... да?... занятия медициной с курсантами... да?... вас агитировали на военмед?

Бедные.

Обманутые.

Теперь вы видите, – армия не говорит правды!

Она ничего не говорит, ни о чем не спрашивает... в армии нет лечебной работы, вообще никакой работы, потому что в армии не работают, а служат.

Армия – это то место на свете, куда приходят исполнять приказы.

Они месяцами не снимали полевой формы.

Военные медики, приказанные гонять свои взводы на строительство танкового полигона.

Всего семь километров пешего марша до совершенно непонятных глиняных трудов, потом какое-то перетаскивание с места на место, подготовка площадки для ожидаемого на стрельбы командующего.

Курсанты роют глину и носят дёрн.

Офицеры ищут тень, вытирая лица коричневыми от пыли носовыми платками и оставив сержантам осмысливать бесполезный объём работ.

Он стоит среди них, не ищет тени, не роет глину и не осмысливает бесполезный объём.

Он осмысливает боль в ногах и предчувствует неминуемые скорые кустики, хотя... подставить задницу под дальневосточное комарьё, которое сначала кусает а потом уже садится, – это.....ну только по самой большой нужде.

И потом, по этой самой «самой большой нужде», он продолжал думать о боли в ногах, об исколотой летающими шприцами заднице, а ещё о радости хоть такого кусающего одиночества, выключившего уже невыносимый звук общественной жизни.

Семь километров пешего марша туда, семь – оттуда... Господи!... как они быстро идут... как оно беспощадно палит... и.... зачем всё это

.....всё **эТО** в его судьбе...

.....и когда же **ЭТо**, наконец, кончится.....

Или Дальний не кончается никогда?

Бешено жаркий и влажный май, его второй армейский май, обеими ногами стоял у него на голове.

А тут еще роту пустили бегом, и комвзвода больно схватил его за рукав, прихватив и кожу руки, и крикнул: “Да шевели ты ногами, интеллигент несчастный!”

И не оборачиваясь побежал за ротой, а он спокойно, но внутренне обиженно продолжал отставать, так и не сменив ноги в удаляющийся ротный бег.

Да не мог он!

Не добежал бы.

Не было у него дурацких сил тащить своё тело с такой скоростью через все эти километры висячей пыли.

Еще полчаса одиночества.

Сейчас они скроются за пригорком, и он опять увидит их только взойдя на перевал, но они тогда будут уже далеко и бесшумно, и может быть, к концу отставания, он даже попадет в полосу усевшейся пыли.

Рота дотягивалась до высоты последними падающими и пьяно идущими, а позади всех тяжело шагал никому не нужный патриот.

Потому что кому нужен патриот, не умеющий бегать!?

Когда последнюю голову срезало кромкой пригорка, он всё ещё шёл в гору.

Оставшись один, он испытал обычное сочетание недолгой свободы и страха.

Чаще всего встречающаяся комбинация.

Беспредельно регламентированные жизнью пугаются одиночества свободы, сторонятся даже подозрения, что можно идти всюду, но никто не подскажет куда.

Это второй из самых животных человеческих страхов.

Третий страх – наказание за свободу.

Мы так устроили, что свобода почти всегда что-нибудь нарушает.

Человеческие установления – уже чертеж движения, проторенность путей, ограничительные бровки, стрелки, знаки разъездов, время поворотов, час

прихода к общему куску или сну и, что особенно смешно – час общей молитвы.

Всеми этими пошлостями мы купили спасительную отъёрнутость от зеркала, заботливую непредоставленность личному бессилию.

Но мы узнали и врождённую, как аорта, тоску по свободе, обиду за рабство, в котором никто нас не держит.

Поэтому, случайно вступив в холодное мгновение свободы, мы неравномерно разбухаем от непереносимого счастья и сжимаемся от сложного мозаичного страха, состоящего из – «о, Господи... *ведь накажут!*», и – «*только бы не потерять общую тропу*».

Он глубоко вдохнул эту мучительную смесь и пошёл быстрее.

Толстая пыль смягчала и замедляла движение.

Он не хотел отдаться свободе пока не видел перед собой ориентира удаляющейся роты.

Потом он взошел на пригорок, и всё было перед ним: червяк убежавшей роты, дальние очертания тайги и всё остальное за тайгой, над ней, и...

.....и можно было теперь выдохнуть... ощутить вокруг свободу.....

Уже не опасно, не страшно... но уже и не свобода, уже кастрировано видимой необходимостью.

Можно было теперь грустить о бескрайности.

Урезониваясь неизбежностью шага, можно было снова начинать ненавидеть общую тропу, которую уже не опасаясь потерять.
Свобода... в неё только лететь, а как лететь нелетающему?
Тоска становилась уютной от внутренней интонации – «что ж поделаешь, если не умею»...
И он отдал себя расслабляющей инерции спуска.

Идти... идти... а слева у кромки пыли кто-то живет.
Кто-то переселившийся из Хабаровска и недоселившийся до Комсомольска.
Остановило густотой тайги.
Или колодцем?
Условный забор, похожий на рельсы.
Пустой ноге легко в вечном падении.
Сапоги-самоходы.
Только не придерживать.
Он от легкости почти вбегал в неизбежность низины, но при этом радовало, что рота убегает, всё-таки, быстрее.
Как сладко было теперь снова не любить её, не любить предстоящий батальон.
Не любить свою неволю, убедившись в ней.

*убедившись уйти успокоив убыль
унаследовав узость упавших уз*

Может быть, ему хотелось, чтобы всё это было водой, зелёным обиталищем, но не листьев, а подвижного мрамора, гибких рыб?
Может быть, он мечтал о метаморфозе молота жары в раздвоенный язык ветра?
Наверно резерв тоски добывал из сознания что-нибудь более убедительное чем тайга, чтобы окончательно удостоверить невозможность полёта... например, какие-то очень далёкие облака, которые отмерят ему недоступную бесконечность.

Но под раскалённой жестянкой голубизны ему пришлось заглянуть в колодец.
А там подстерегал ужас.
Уже несколько раз приходилось, но так он и не привык к этому.
Кишка уходила вниз пищеводом ледникового зверя.
Само чудовище пряталось в глубинах, но холод, выдыхаемый им, промораживал вверх почти весь сруб.
Вечную мерзлоту учат по географии.
Он теперь учил её глазами и коротким отдыхом лица, подставленного смертоносному выдоху.

Как очевидна была фиктивность мира.
Дальний Восток, притворявшийся огромной нормальной землёй, не был ею на самом деле. Лишь несколько первых метров от верхнего края сруба вниз ещё были озабочены проблемами мимикрии... ниже брёвна становились стеклянными и мокрыми, как слизистая. Потом глубина осушала слизистость, а дальше... дальше нарастало белыми буграми, какими-то хрупкими иглами... и уже вообще не было поминания о брёвнах, о срубе, о колодце...
.....там не человеческое уже было...

.....там всё обросло ледяной глоткой.

Может быть, привыкшему эстетизировать страдание хотелось подумать:

“Вот... конечно... это и есть проклятый туннель твоего срока – мёрзлые внутренности чудовища, так медленно лежащего за окошком ползущих лет...”

Но он уже охладил лицо колодезной смертью и подумал, глядя в опять обретённый Дальний: “Вон она, рота. Надо торопиться – скоро обед”.

Еще раз позвало подземное, и напоровшись глазами на острия хрупких игл, он вспомнил зиму.

Воспоминание простое как велосипедная рама, на которую сел, промахнувшись мимо седла и не достав ногами до земли.

Горку цемента, высыпаемую еще осенью прямо на дороге в столовую, использовали только на треть, чтобы подновить облупленные бровки.

Ее укрепило продувом туберкулёзных ветров, которые когда-то служили для искоренения в России декабристских заблуждений, а теперь служат для здорового закаливания недружных советских солдат. Потом её полило поздними дождями, и командование пришло в убеждение отложить ликвидацию горки до весны, чем вызвало честный общеармейской недоум, так как по невежественному нашему разумению весна топит снега, а не схватившийся цемент. Была, правда, попытка вырубить из уплотнившейся горки штыковую лопату, глубоко оставленную небрежным художником, но цемент оказался принципиальнее, поэтому кто-то сообразительно отпилил черенок от погрязшего штыка, и уже в этом окончательном варианте производство зазимовало, шесть раз на дню заужая колонну по четыре в колонну по три на незыблемом ротном пути туда и обратно.

Всё это российское творчество было видно ему в окошко, да и сам он ежедневно исполнял многократный ритуал уступания дороги зацементированной лопате.

Когда её урезали, он даже соскучился.

А потом снега превратили цемент в сугроб, и сугроб стал казаться ему выступающим плечом.

Плечом его медленного демона.

* * *

...окошко... плечо... – уловки стыда, бессильного сказать...

Трудно, почти невозможно писать об уже давно нелюбимой.

Как заставить себя сказать, что уже не любишь, что обозначился десятилетием, что писать было надо тогда, когда любовь заменяла правду, а не теперь, когда правда пришла на пустую шахматную клетку.

Нет фигуры... нечем двигать...

... это не такое, о котором можно повествовать.....

Вообще, жизнь – не такое.....

Сколько ни обезболивай, всё равно...

Он, как раз, изучал заснеженное плечо в окошке, когда спиной услышал стремительный скрип двери и радостный запых морозного лица:

– Товарищ сержант, вас там спрашивают!
Не было спасительных двухсот метров асфальта... не было ужаса
предстоящего... был короткий сознательный выбег на снег, и была она, опять
она... у забора... в нестерпимо знакомом зимнем пальтишке и большом
ворсистом платке.

*И ты можешь жить?
После того, как всё это куда-то девалось... ты можешь
жить?*

Он обнял её пальто, он увидел, как болезненно она красива... как готовно
брызнули слезы.

Не кошмар прошлой разлуки, а тягота нерешённых проблем.

.....недорешённых в первую встречу.

И при закрытых дверях она еще какое-то время плакала, а он курил, а потом
её закрытые глаза увидели ремень и пуговицы сержантского х/б... её открытый
рот узнал опять успевшее сделаться незнакомым тело, её горячий лоб
прочертил полосу электричества от его подбородка до живота, и живот
спазматически втянулся, когда он потерял, где кончается он и начинается она.
А она начиналась нигде... нигде... нигде...
и кончалась молитвой колен, не заметивших, как больно они ударились о
бетон, горячий даже для его сапога.

.....нигде.....нигде...нигде.....нигде.....нигде был тлеющий окурочек, так
и застрявший между пальцами, ушедшими в её волосы, нигде была стенка,
слипшаяся с его спиной настолько, что пот не находил своих позвоночных
путей. Нигде были ноги, стоявшие, как у родосского истукана – по ту и другую
сторону, нигде было всё... и это всё чего-то ждало от него... чего-то такого,
чего хотел и он сам и требовал от себя... кусая собственный голос, чтобы
уничтожить его на кромке губ...

“Шмунк! Срочно пять человек на кухню!”

Это тоже было нигде, но не там, где были они (видимо, «нигде» имеет свои
внутренние разграничения). Там, где были они, осторожно вздрагивало
молчание, испуганное хрупкостью неправильно соединённых сосудов...
повторных столкновений женского лба с границами мужского тела.

Извергнуть и вобрать – этой вечно нерешённой задаче были посвящены и
дрожавшие ноги, и искусанный крик, и мычащая настойчивость. Он отрицал,
метался затылком по комковатой подушке стены. Он отрицал, отрицал...
отрицал, а она всё твердила... твердила... твердила навстречу протестующим
отталкиваниям.....

...она твердила, а он отрицал.

Но на самом деле твердил и он.

Это знали руки, не отпускаявшие женскую голову, которую отбрасывал...
пытался отбросить живот.

Мужское и женское творило общую заботу из чуждых нужд, и сильнее
мускульного желания насильно внедрить... надругаться, было феминическое
воление вобрать, сосредоточить, придать форму слепому мужскому потоку,
выдержать ярость вталкивания во имя будущего роста.

Даже неправильность соединения сосудов, – небрежение условием природы,
– не ослабляло стремящейся женской надежды.

Батальон оскалился гнилыми зубами марширующих рот.
Чеканили на обед, а он... он опять не успевал встать в ряд.
Его отсутствие опять зияло дырой, бесконечно воспалявшей коллективную десну, из которой ряд и произрастает.
Его цепко держало феминическое... держало властным и ласковым приговором губ, впившимися в исхудалые бёдра ногтями, повторными столкновениями женского лба с границами его тела...
Ударение... ударение... отрицание и твердящая женственность...
.....пот, не находящий стока...кашель... нечленораздельное мычание закупоренной речи, и всё.... *это*, от которого нету ни воли, ни способа избавиться.
Нет-нет, воля была.
Что-то запрещало стать добровольно жертвой, что-то кусало крик... отменяло праздник, рвавшийся из гортани.
И отменило.
Он дёрнулся покинуть пучину слюны, сломать хрупкость неправильного соединения... не я!... не я!... сломал... хрупкость треснула, но кипение всё равно произошло, рванулись внутренности наружу.
Сдерживать было уже нечего.
Обуздание опоздало.
В немом припадке дрожи было так долгожданное... так ненавистное!
Нависший одр одиноких ночей..... нервный призрак вечной нерешённости.....и.....
и окончательная пропущенность свободы – этой ценой купленное блаженство.

Женская голова в его руках возмущенно крикнула: “НЕТ!”, и уже совершенно невыносимый видеть собственное снаружи, он притянул её к себе, заслонил ею происходящее... прижал... придавил к изошедшему..... к пропущенной тайне взаимности..... вдавил в то, что уже не могло быть тайной, потому что увидело свет.

Как будто всё-таки хотел еще укрыть... скрыть *это*.

Если не от неё и себя, так хоть между ними... хоть от окружающей жизни спрятать хлестнувшую адом пробойну.

Секунды ушли на последние биения и на её глухие выкрики оттуда, из безвоздушной вдавренности в его живот. Стыд вместе с наслаждением покинул скрюченные пальцы, они отпустили, и он услышал снизу на судорожном вдохе: “.... блю тебя! “

Пахло сгоревшими человеческими волосами.

Она подняла мокрое лицо.

Они поняли, что снова встретились.

* * *

Как велосипедная рама.

Но вместе с этой главной радостью, ударившей воспоминанием в пах, припомнился и весь остальной велосипед.

Тугие педали тех десяти дней, что она провела... они провели...

Новогодний вечер в офицерском клубе, где он играл и пел, а она сидела рядом, глядя и не веря, что – рядом.

Запорное веселье офицерства, пытавшегося выстрелить радостью в страшную дальневосточную ночь, оформлявшую им очередной «новый год» организованной защиты Родины.

Танцевальную суету раскрашенных жен, перебивавших парадную зелень кителей в поисках чего-нибудь более привлекательного, чем провонявшаяся мужем фуражка. Буфет новогоднего торжества, в котором продавались, главным образом, консервы.

Постепенную потерю офицерской трезвости, всё более пьяные танцы, обильную потливость среды, двигавшейся уже под любые звуки... среды, от которой они были отделены высотой сцены.

Он вспомнил и такое, что было неловко вспоминать: допотопные наряды – последнее наследство гражданской жизни, которое офицерские жены вывезли из больших городов в таёжный гарнизон, и... ещё – лицо Рощина, сначала ясное и говорившее с ним на их общем немом языке презрения, а потом мутное, возлекшееся в танцевальный скок, допустившее себя до общего пляса.

А потом пришло – как он вывел её под снежную пыль, и она задохнулась в морозе отказавшем дышать....

... короткий ожог бегом...

...прижавшись друг к другу, до офицерской гостиницы...

...счастье хоть какого-то тепла...

и мгновенно настигавшая.....нет, настигшая темнота, в которой они боролись сомневающимися телами, искали подтверждения в невероятных соприкосновениях, в контакте всего со всем, потому что их взаимное существование требовало доказательств... потому что оно гибло в разлуке плоти, потому что оно нуждало в давленности, боли... отпечатанности одного в другом, потому что искало крика, этой главной улики причинённого страдания... причинённого счастья... причинённой жизни...

И всё было новостью, всё потрясало неожиданностью открытий, а изваянная скульптура ночи не желала превращаться в сон.

Велосипедная рама.

И весь остальной велосипед.

И теперь надо идти в батальон с этим железом внутри.

Роты уже не видно.

У забора, похожего на рельсы, недоселившийся делает что-то, совершенно не обязательное для главной жизни и потому бескомпромиссно вычеркнутое памятью.

* * *

*Ты хотел?
Вот оно... всё здесь!
И камин палача, и расплавленное золото.
Ты так рвался в застенок невроза... вот он, твой
застенок!
Пусть будет тебе не обломно идти под избранным
крестом.
И умный, и талантливый... вот тебе твой обречённый
моментализм!
Разбухай постепенно в накопленности страниц.
Самый разбухший утопленник в мире.
Из наплесканных красок не возникает картина жизни...
возникает картина смерти.
А ведь ты с этого начал.
Потому что он прав – проза умирает!
Думал плеснуть и чтобы хватило до краёв?
Вот тебе твоя самонадеянность – струя взбалмошной
лирики... Размазывай теперь, не только не успевая за
плавящимся стеклом, но вообще не имея выхода из этой
лужи.
Бейся головой об лишние грани... их там достаточно,
чтобы погаснуть от избытка преломления.
Бейся, бейся... вылезай как знаешь... резвый мальчик,
взявшийся писать.*

* * *

Музыкальное убежище открывается двойным поворотом ключа, и тыходишь в отвоёванное у армии пространство личного смеха, личной грусти и подавленных воплей оmozолевшей полуторагодовой тюрьмы. Бетонный пол отдает тебе щедрый холод близкой вечной мерзлоты, освобождённой концом отопительного сезона. Твой Друг сидит у окошка, ласково подобрав к груди гитару. Почему Друг? Об этом ты будешь думать когда-нибудь, через много гражданских лет. Думать и удивляться. А ныне – Друг.

Просто потому, что вам одинаково больно... просто потому, что вами владеет один и тот же садистический близнец, ещё один строевой день.

Снеси на плечах,
продвинь хоть на минуту,
увидь, хотя бы, конец двухлетнего рабства...

Что будет, что там будет?

За краем, куда не пробиться даже самым разнузданным воображением.

Там будет воля?

Там будет бесконечный лазарет глаз в повязках родного города, привычных лиц?

И целая вечность никем не скомандованных минут?

Когда ты вошёл, он смотрел на дверь, а теперь он смотрит в окошко... в расцветший напрасный июнь чужой земли, на которую вас привезли, сбросили и сказали: “Здесь защищайте Родину!”

Струны напомнили пальцам, что ждут, и он тронул нестройный тройной тон, и его кротко стриженная голова склонилась к занятию звуком.

Ты не услышал... ты узнал по безошибочному шевелению в углу, по вскинувшемуся нежному псу, по тонкому скулению, похожему на дверной скрип, по тихим скребаниям пухлых лап где-то внутри твоего четвертого и последнего х/б... и если б можно было... если бы принадлежность к мужскому роду не была такой глупой и неопровержимой, ты бы подошёл и погладил его по голове, и увидел бы обожженные сухостью глаза, и одинокую слезу на гитарном лаке.

И это непохожее русское лицо сказало бы тебе трудно разжатыми зубами: “Не могу я больше...”

Но принадлежность к мужскому роду глупа и неопровержима, и потому скрой в глубокой тайне то, что произошло... запрети собственной ладони память о стриженной голове, об огрубевшем юношеском затылке... вернись... вернись внутрь мужского рода, тем более, что, всё равно, никогда не повторится в пустой и ни к чему не обязывающей гражданской жизни этот чистый стыд сострадания.

* * *

Июнь принёс нам дедовствò.

Последние дедушки, царившие над нами, с громким гиканьем исчезли в пылевом столбе очередного дембеля, и стали мы – предпоследние – последними, самыми старыми, – уже пробившие головами толщу полутора лет, уже начавшие круглосуточную слезку за вельможной рукой министра обороны, чтобы не пропустить момент, когда она подмахнёт приказ об очередной демобилизации.

Нашу амнистию, нашу свободу.....

Очередная демобилизация перестала быть очередной, потому что на очереди были мы.

Судьбы наши с трепетом ждали движения руки, а медленное чудовище всё так же лохмато лежало вокруг.

Его не трогали наши внутренние приготовления, оно и не собиралось уменьшаться размерами, оно продолжало диктовать вечность нашему... моему заточению.

А вельможная рука, между тем, незаметно для нас превращалась в ногу. 19... год останется памятен Дальнему высочайшим визитом.

Министр обороны изъявил намерение лично посетить округ.

Когда в батальон привезли эту жуткую новость, переполох ударил в подушку и перья полетели.

Где-то под текстом неопределённо блуждало, что наезд маршала прикрывает какие-то невероятные передвижения армий, сосредоточение дополнительных контингентов в районах китайских угроз.

Но испуг, видимо, поразивший командующего округом, раскатывался тяжелыми волнами невроза всё ниже, ниже, затопляя кабинеты командармов, комдивов, комбригов, комбатов.

Ниже комбатских паркетов царила уже полная безответственность, поэтому был обеспечен всеобъемлющий запуг до самого подвального низа, чтобы успешно выполнить то, что продиктовал страх в высших штабах.

А продиктовал он не больше-не меньше как отремонтировать армию во всём необозримом дельневосточье.

Конечно, несколько инспекционных дней даже самому стуковому вояке не дадут времени, но куда???.. как угадать, куда именно сунет министр свой маршальский нос?

Ударил переполох, и полетели перья.

Всё побежало.

Командиры рот побежали на вздрючку в кабинет комбата, где их принял начальник штаба, потому что сам комбат покати́л в своем уазике в Хабаровск на вздрючку к Бояринову, который в это время уже стоял на ковре у командарма, который как раз тогда же потел в приемной генерала армии Сидорова, страшнокомандующего округом.

А в маленьком нашем медсанбатике побежали прапорщички, которых напрасно пытался догнать пузатый и красный майор Бурда, чтобы успеть отмужичить до того, как они прикроют многолетнее безразличие армейского бардака тонким плутовством поверхностного порядка.

Что-то начало судорожно краситься и белиться, окаменевшую горку и погрязший штык сбрило одним только помышлением о возможной вельможной ноге.

Даже Оврученко пошёл быстро в догонку собственной челюсти.

Пошёл и сказал: “Вы всё поняли? Немедленно навести порядок!”

– Да Господи, товарищ капитан, когда ж я вас подводил? – но он не купился на фамильярное заверение.

Челюсть обозначила углы: “Я сказал нем-м-медленно навести порядок!”

И я побежал наводить, хотя и не очень-то знал, что именно.

Однако, в музыкалке я сразу понял что.

Ставший уже привычным божественный мирок несуразной этой комнатки был настолько цивилизным, то есть до такой степени оскорбительно невоенным, что...

А потом, вдруг, всё остановилось.

Прибыл вздрюченный комбат и стало ясно, что фуражка не налезет на каску.

Это вам не батальонная учебная тревога, о которой он уведомлял офицеров с вечера, а они – старшин, а старшины – дежурных по ротам, так что к торжественному часу его появления у окошка дежурного офицера и прочувствованной команды “Тревога!” батальон уже давно не спал, чтобы дружно вскочить по включённому реву, кинуться к заранее отпертым оружейкам и распахнутым пирамидам, выхватить всё уставное и всё равно не успеть.

Это была действительно тяжёлая «военная» неожиданность.

Отпечатанный на лбу безоговорочный телекс:

В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ БЫСТРОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ РЕМОНТА РАСПОЛОЖЕНИЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА, ОСВОБОДИТЬ КАЗАРМЫ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ №..... И ВЫДВИНУТЬСЯ УЧЕБНЫМ ЛАГЕРЕМ.
ЛАГЕРЬ РАЗБИТЬ НА ЛЮБОМ ПОДХОДЯЩЕМ УЧАСТКЕ НЕ БЛИЖЕ 20-и КИЛОМЕТРОВ К ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ.

Вывезти лагерем в тайгу весь этот бедлам?

На подготовку места, разбивку лагеря, т.е. палаточного городка, солдатской столовой, медпункта, походной ленинской комнаты (это обязательно!!!), выгребных ям на такое количество (это неизбежно!!!) – да тут таскать не перетаскать!.....

Я ушел на кухню.

В начавшейся «войне» это было самое тихое место.

Среди сержантов дежурство по кухне считалось обидным и тяжёлым нарядом, и так оно, в общем, и было в сравнении с принужденным покуриванием в будке КПП или произвольным погоном взмыленных дневальных в роте.

Кухня грязна.

Она чадит и дышит паром, скользит жирной немытостью пола, грозит ответственностью за несвоевременно накрытый батальонный стол, (а это страшный грех по армейскому «евангелию»), но!... она даёт преимущество прибитости.

В начавшейся «войне» я выбрал прибитость.

Обычное стремление увильнуть от наряда перевернулось в стремление, как раз, попасть.

Попадавшие в суточное дежурство оказывались практически незатронуты этой мезозойской бурей. Начинаясь с подъема крик и шевеление слишком поздно спохватившейся бессмыслицы, буквально разбирали батальона на части – всё это не касалось караула и гарнизонного наряда. Еще со вчера прибитые к назначенным местам, они продолжали своё автономное существование по распорядку.

Это была последняя возможность сберечь хоть крупицу одиночества.

На сутки, хотя бы.....

В удобные дежурства, – деж. по роте; деж. по КПП; пом. деж. по части; пом. нач. кара и разводящий; – ходила сержантская аристократия, отменные служивые, стдившие, по мнению начальства, этой поблажки.

За удобные дежурства боролись, сопели в обидных спорах – «а я... а я... а почему опять не я???»», но назначавшийся дежурным по кухне всегда бурчал: “А почему опять я?”

Кухня традиционно оставалась нелюбимой, нежеланной пристанью.

И я причалил.

Давно уже не имевший веры в окончательный предел, я искал избавления в каждом отдельном дне.

Я искал забвения, я хотел, чтобы обо мне забыли.

Ценой забвения был кухонный остракизм.

Музыкалка опустела.

Наконец-то Смолин покончил с нами.

Большой переполох отобрал у нас с Юрой право на репетиции, на наших очередных музыкальных ребят. Они исчезли в общем строю бесконечных работ, и если бы не кухня...

Наряд на суточное дежурство зачитывался после обеда.

Старшина Шмунк – (красавец Гашевский к тому времени уже кого-то покалечил, и его невежливо пригласили из старшин в рядовые и поставили кочегаром.....но какая карьера!! какой взлёт и падение!).... да, так старшина Шмунк, рыжий немец с Волги, мало что понимал в моём желании через сутки заступать дежурным по кухне.

Но он был просто добрый малый, беззлобный «фазан», выбранный в старшины не за свирепость, а за работячество (мода на свирепых старшин уже угасала к исходу моих двух лет).

Пожимая плечами, Шмунк объявлял: “Кухонный наряд! Дежурный по кухне – сержант Левит-Броун. Дневальные:

курсантудов,

курсантский,

курсантксин,

курсантидзе,

курсантапов,

курсантшный,

курсантрцев,

курсантиков,

курсантхода,

курсантшный,

курсантйцев”

Дневальных, то есть тех, кто, собственно, и будет искренне «пахать» ближайшие сутки на батальонное брюхо, предварительно назначал я сам.

Часто это были одни и те же мальчики, уже знавшие, что со мной издевательств не будет, что надо только поспевать, чтобы сравнительно тихо протянуть еще один курсантский день.

Они, бывало, и сами просились.

Рота расходилась готовиться к заступлению в наряд, оставшихся незадействованными тут же подхватывало большим переполохом что-нибудь куда-нибудь перетаскивать, где-то рыть, зачем-то высаживать под пеклом июньским деревца вдоль бровок.

В этой пурге, которая уже меня не касалась, можно было не спешить.

– Кухонный наряд, построиться на плацу!

Одиннадцать военных без страха стояли передо мной.

Где-то в себе это было немножко обидно, но поздно уже было изображать пугало.

Улыбались они... да и я...

Внимательным взглядом я извлекал из ряда самого крупного и злого. В нём, в самом крупном и злом, была моя надежда на тихие сутки, в нём заключался мой фокус.

– Курсант Зайцев, ко мне!

Здоровенный лоб выступал из строя, оставляя в нем серьезную дыру.

Я отводил его на расстояние секретности:

– Слушай меня внимательно, курсант Зайцев. Я дам тебе возможность не работать, если ты дашь мне возможность не заниматься нарядом. Разрешаю применять любые средства.

Меня не интересует, как ты заставишь их крутиться, меня интересует мой личный покой в ближайшие сутки. Ты можешь им помогать, а можешь их бить. Всё делать быстро, вовремя докладывать о накрытии, столовую содержать в чистоте. Не сумеешь, будешь всю ночь сушить полы тряпкой. Воды хватит.

Он моргал большим испуганным лицом, но, ободренный моей улыбкой, начинал понимать.

– Так точно, туварыш сэржант! Усэ зделаю!

– Давай, Зайцев..... всё равно кто-то должен **это** сделать.

Последние слова я говорил уже себе.

– Внимание, кухонный наряд! Курсант Зайцев назначается ответственным по дежурству! Все его распоряжения выполнять как мои. Меня беспокоить только в самом крайнем случае. Понятно?

Мне отвечало неуверенное “понятно”, и я не добивался от них обязательного строевого “так точно, товарищ сержант”.

Какой я, к чертям, сержант!

Ненужный я патриот, вот кто...

«интеллигент несчастный»

– Сейчас, мальчики, готовиться к заступлению в наряд! Побриться, помыться, получить на кухне спецодежду. В 17.30 построиться на плацу. Ответственный Зайцев доложит мне о готовности наряда.

Я иду спать. Вопросы есть? Всё, разойдись!

Ну да... будут «пахать», как окаянные, а я иду спать.

Всё правильно – армия.

Но хотелось ещё помедлить.

В тени двухэтажной казармы хорошо было сдержать ставшую привычной поспешность шага, чтобы всё **это** понеслось мимо ещё быстрее.

Ещё глупее.

Вон Сальников, чертыхаясь, опять повёл куда-то взвод.

Группа неменяемых под командой прапорщика Васильчикова сажает...

Ровненко сажает.

Колышки... ниточка...

Так оно тебе и привилось!

Сибирская язва раньше привьется на этой мёрзлой глине.

Рывок за плечо.

– Сержант, почему не отдаете чести офицеру?

Муравцев.

А рванул как равного.

– Прошу прощения, тов...

– Что за обращение в армии! Вернуться на пять шагов назад и пройти строевым, как положено! И отдать честь!

Возвращаюсь.

Иду.

– Отставить! Я сказал – строевым!

Возвращаюсь.

.....

– Отставить! Я сказал – строевым!

Ладно, х... с тобой, мудака мордатый.

И вот идет по Дальнему Востоку двадцатипятилетний лысый еврей.

Строевым, между прочим, шажком.

Оказавшиеся курсанты прячут глаза.

Не надо прятать, мальчики!

Мы для того и собрались в армию, чтоб отдавать свою честь кому-то другому.

Красное обжигает снаружи.

Пожалуй, идти спать...

НОЧЬ

Как она возникает?

Просто сумерки?

Нет... ещё какое-то расширяющее движение... оживание коры...

Ты отстоял уже батальонную вечерю, отгрохал кружечным киселем, ты был не нужен на отбое.

Роты съели и улеглись, здоровенный лоб нагоняет порученных тебе нарядных в мойке и на чистке картофеля.

Большой переполох выдыхает дневную сажу.

Нервно дёргаются во снах офицеры, предчувствуя будущие выговоры и разжалования.

Казармы спят без сознания, без памяти, что завтра снова сажать по ниточке обречённые деревца.

Прожекторы из своих выгодных положений дают проверку территории.

Армия не знает полной темноты.

Но всё равно, возникает ночь.

Из холода на шее, из ритма росы, из потемневшего рубежа несвободы, вкопанного вокруг тебя и твоих возможных мыслей о бегстве.

Ночь возникает из желания выйти, согрешить, совершить неуставное расширяющее движение.

Давай!

Всё готово!

Как струнен пустынный плац, на котором никто не командует.

И трехэтажный штаб и маленький КПП, и повалившиеся на бок туши фаршированных человечиною казарм... зелёный забор караулки, – всё в обмороке сна, так и не

сбросившего тугих асфальтовых шлеек вечного комбинезона.

Спит в одежде большой армейский макет...

Не смотри, не смотри вверх! Там всё по-старому... там всегдашнее надругательство недостижимого, непонятно зачем присутствующего при самых бестолковых попытках плоского мира...

...плоского мира, по которому ты идёшь, пытаясь его любить, то есть – делать невозможное.

Вот твоя армиЯ!

Ты уже не боишься, ты просто не можешь уже выносить твой остаток...

...нет, ты никогда не дождёшься конца... призрак близкого дембеля не может обмануть кончающуюся душу...

Шаг неритмичен... да-да... так было когда-то очень давно, когда ты ещё не умел бояться и спрашивать разрешения... впрочем, тебе и дома хватало армии.

Детство, вкованное в папины кулаки... пока ты не стал большим, так что он уже не решался воспитывать подросткового врага.

...любить... то есть делать невозможное...

Да не надо же смотреть вверх!

Я же говорил!... оно там... оно ругается тихо и всегда будет ругаться.

Тихо и неостановимо.

Самим фактом.

Самим намеком на возможность иного чем шаг способа движения, для которого все расстояния – мгновение.

А тебе дан шаг, и для него все расстояния – бесконечность.

Тебе дан шаг, но... всё равно, иди... дойди до того места в росе, где растёт эта нелепая берёза, и пусть не поверит тебе твой глупый читатель, но всё равно...

прислонись грудью к оживающей коре, и... и обвини прожектор, метко держащий в луче ваше объятие, и так запомни...

Это была не попытка близости, это была проба единства.

Обними и обвини, и пусть скорее родится строка, скорее... скорее!..

“я прислонюсь к тебе, берёзовая горечь застывший свет, отобранный у ночи”

Скорее!... потому что космическое надругательство уже протянуло вниз благословляющую руку, уже послало тебе новое, и стало больно в изменной правде кончающейся души.

Скорее!... потому что уже время извергнуть вместе с горькими слезами пророчество, которое не слышно никому...

*“они придут, придут в тридцатом веке”
...никому, кроме живой коры, которой всё понятно и всё
равно.
Соскользнут с неё слезы твои.*

Это вышло из меня густой судорогой съеденного рыдания, вышло позорно, как скользкий ребёнок... в слизи какого-то претенциозного стиха, так и погибшего недошедшим письмом.

А он и должен был, вероятно, погибнуть.

Плацента не нужна, она сделала своё и должна высохнуть, стлеть.

Я ещё стою в луче прожектора, обнятый с берёзой, но уже начала формироваться эстетическая сооценка.

Я постиг себя и берёзу, увидел всё со стороны, и значит началась режиссура переживания... но там оно кончается, где торжествует сознание... низменная правда... плоский мир...

Самое невмещающееся, что сохранила память, – это мгновение луча, шевелящая землёй заглавная буква... неустойчивость ног... невычислимо краткий йот единства, из которого, собственно, и пришли строка и пророчество, слишком острые, чтобы выйти без вспомогательных вод. А ещё бы должен был случиться счастливый испуг оттого, что *это* было и, значит, сможет повториться, что можно жить теперь в ожидании, что есть надежда... но всё это уже не успело, не поместилось, потому что ночь кончается неожиданно и задолго до посветления краёв.

– Эй... кто это там прыстроился? А ну, иди суда!

Подхожу медленно, чтобы успеть научиться говорить.

Начальник караула с разводящим.

Видимо, идут проверять посты.

– Тебе шо, Левит-Броун, нет время до очка дойти, шо ты под дерево стал?

Странный этот Притока.

Вроде училище закончил, а свой первобытный вид не потерял.

– Да я так...

– Шо так, шо так... а ну, дыхни!

Но от меня пахнет только кончившейся ночью, и лейтенант Притока продолжает путь.

Дай тебе Бог хоть одного спящего на посту!

Чтоб было о чем поговорить.

Но ещё не всё...

Не всё ещё конечно в этой кончившейся ночи.

Еще проверить эффективность зайцевского террора, пальцем удостоверить чистоту столов, несколькость посуды... сосчитать кружки очередного накрытия, заглянуть в заправку котлов.

Страшно, сколько пищи одновременно варится в этих хромированных кормильцах.

Картошка светится ободранной горой, женская белизна масла уже четвертована и раскрыта на круглешки.

По тарелкам и в холодильник.

Завтра утром Советская Армия съест очередные сорок сливочных тонн.

Где-то уже начала есть.

Где-то на этой невиданной земле, которая называется Родиной, и куда утро приходит трудно и постепенно, карабаясь от меридиана к меридиану с лоскутом света в зубах.

Да... вот теперь действительно всё, и кухонный сатир, прапорщик Куляб, не найдёт полопавшимися от многолетней водки глазами ничего, что могло бы осложнить мне завтрашнее утро.

Спать?

А что ещё делать в этой исчерпанной темноте!

Спать... спать!

Как и всем дежурным на свете, мне положены четыре часа.

* * *

Месячник моей добровольной кухонной ссылки подходил к концу, а батальон серьёзно собирался на выезд.

Куда-то в тайгу – строить лагерь – регулярно выезжал оперативный отряд плотников и копателей, а наши пенаты всё больше напоминали детский садик, тщательно приводимый в порядок тихопомешанным. Зазеленел свежим маслом забор, спрямились зазубренные углы, бетонная трибуна на плацу уже не нуждалась в ораторе. Громовое **“Да здравствует !!!”** глушило слух при одном взгляде на её красную грудь. Деревца доживали искусственный век по проторенной ниточке.

А мы, проторенные уже до дембельских неврозоз, спотыкаясь, вступали в фазу болезненного дожития.

Началось это ещё весной, когда мои сюрпризники возвращались из заслуженных отпусков.

Воля, дунувшая в них с гражданки, портила армейский вид.

Участились случаи разногласий с офицерами, вернее, мы вошли в полосу участвовавших разногласий.

Я с удивлением наблюдал неповиновение самых рьяных, обиды и горечь, приводившую их в неосмысленную ярость на курсантское племя.

Летели консервные банки в головы несчастных дневальных, только теперь я уже был не в стаде шарахающихся, а в банде метателей.

Банда метателей.

Они отслужили своё, и что-то внутри скомандовало – “баста!”.

Последнее полугодие, время дикого разброда, домучивания несократимого срока.

Болезнь дембельства – вылупливание нормального человеческого несогласия из скорлупы жесткого армейского “так точно!”, которое они носили в отглаженных х/б.

Да, я был теперь в банде метателей, и хотя стыд не позволял, но и я чувствовал в себе это инфекционное желание махнуть сапогом, рвануть на ни в чём неповинном голопогоннике свою хроническую срежантскую муку.

Я стал подвержен грусти дембельских песенок, доставшихся нам от жестоких наших предков, и когда в бытовке брэнчали: *“снова белый пух возле тополей кружится”* – я чувствовал, что он кружится и надо мной.

Они самовольничали, капризно не подчинялись, их водили на «губу», но уйти на «губу» было даже гордостью, даже достоинством... признаком нарождающейся свободы.

Это напоминало корабль, вошедший после долгого гибельного плавания в полосу ожидания земли, когда еще не видно, но... может возникнуть в любой следующий миг.

Капитан продолжает отдавать приказы, командно мечется по палубе, но видит только спины у борта, потому что глаза преследуют горизонт.

О да!... они преследовали горизонт, не мигали, и в самых сухих глазах заводилась влага, делавшая их раздражительными и человеческими.

Не сочувствием, страданием.

А батальон собирался на выезд.

Из своего кухонного остракизма я наблюдал за ускоряющейся хлопотнёй, за быстрым шагом, всё чаще срывавшимся на бег.

К счастью, никто не понял в этой суতোлке моей игры, иначе у меня бы обязательно отняли спасительное дежурство.

Но сила отрицательного стереотипа заслонила реальное убежище.

Всегдашняя грязь и беспокойство кухонного наряда были настолько общеизвестны, что никто не угадал его очевидных временных выгод в условиях начавшейся «войны» – ни Смолин с Мисеевым, нежно желавшие мне самой «лёгкой» службы, ни сержанты-служаки, имевшие все основания для поблажки, но по инерции отбрыкивавшиеся от дежурства по кухне и, конечно же, попадавшие изо дня в день в лапы большого переполоха.

Даже испытанные, серые от бесконечных рабочих походов со взводами, они покровительственно приходили на обед:

– Ну шо, Левит-Броун... тепер понял службу?

Я делал еврейскую мимику головой от середины влево, и они удовлетворённо усаживались за дембельский стол и брались за ложки сизыми от натруженной бесполезности руками.

А может быть, – думаю я теперь, – они действительно любили труд?

Может, он их и вправду разобезьянил?

Может, говорю, у них и в домёке не было, что проторчать целый день в кухонном углу за бесконечным письмом «одной и той же бабе» не только желательно, а вообще, возможно?

Может, мы были просто на своих местах?...

Может, это и есть наше штатное расписание на земле?

Может, каждый защищается от жизни как может – кто лопатой, кто шариковой ручкой?

Но тогда за что они не любили меня?

А впрочем, за что я не любил их?

* * *

Письмо «одной и той же бабе».

Оно пропитывало мои дни густым и душным запахом бреда.

Фантазии чувственности, давно уже вылепившиеся в истерический сексуальный фантазм, выбрасывало на бумагу чудовищной сочинённой чувшью вперемежку с отчаянием остановившегося времени, по которому я брёл как по беговому тренажёру, где все отмеренные километры сжаты в один удирающий из-под тебя метр резинового пути. Конверты пухтели от истраченной бумаги и уходили, как подушки, не обещавшие сна. Она возвращала мне пытку тонкими листками, где кричала и соглашалась на все мои безумства. Она звенела тем же остановившимся временем, непереносимостью желаний, раздранностью одежд, перенапряжением так долго ждущего тела. Диалог душ, и без того не слишком сильный в нашем могучем чувстве, заглох тогда в оглушительном вагнеризме любовной распри. Мы творили её самопожиранно и свято, и чем более непрерывной она становилась, тем ещё большей непрерывности требовала. Слова не находили себя, письма множились жуткими рисунками воображённого желаемого. Там почти полное неумение ожесточалось категорическим императивом воления, там жажда разнудать последние тайны командовала руке, и рука покорно выводила то, что не обращалось в отдельную речь. А не обращалось ничто.

Когда зима струит холодный ток, непредставимо лето.

И уже не вспомнить, для чего нужны были эти совершенно *необязательные бреды*.

Надо мобилизовать весь свой эксбиционизм, чтобы сделать хоть одну строку, хоть страницу достоянием.....

Не надо.

Письмо «одной и той же бабе» – двухлетний конверт с заученным, как скороговорка, адресом.

Почтовый индекс, татуированный, как лагерный номер, на каждом дне.

Антресолы, полные осени...

...смешное и непреходящее чувство вины...

Не надо вспоминать.

Надо помнить.

* * *

И вот мы поехали.

Батальон наклоняло к востоку, спущенные с ручников грузовики сделали непонятную попытку назад, но огрызнулась резина и покатила «Уралы», очищая от нас шизофренически похорошевший медсанбат.

Покатила засорять нами тайгу.

Покатила... покатила... вся колонна хорошо прочитывалась на повороте...

...рѐв за рѐвом чадящих колесниц.

Сначала это было как-будто бы в Хабаровск, но глаза не успели поймать в прицеле надежду, как уже встал на одно колено какой-то поворот, машины посыпались с бетонки в некую щебѐную гарь... а дальше ужасный мостик, который всё равно пришлось объезжать, и широкий, продавленный по тайге путь, с которого тоже пришлось сворачивать в непонятную густоту.

Наше зрение было задним, и странно... чем продирались эти грузовые медведи через так мгновенно и плотно смыкавшуюся тайгу.
Схлёстывало с брезентовых крыш...
...ветви злобно восстанавливали нарушенное единство...
...чем-то сухим царапало хлопавшие шапки машин...
...кидало извивом недружественной дороги...
...мрачно наблюдало серыми окнами неба, изготовившегося к дождю.

Привезли и ссыпали.
“Здесь защищайте Родину!”
А чего его защищать, этот осинничек!
Просторный, как зал, и без забот, потому что на него никто не нападает.
Кроме нас.
Да никто нам ничего не говорил.
Мы были здесь временным таёжным населенцем, которое «не будет им мешать» приводить в праздничный вид покинутое место службы, куда, не дай Бог!... сунется маршальский нос.

А хорошо-то как!
Палаточный городок, шумное перекрикивание птах, видимо, обсуждающих там, в верхах, особенности нашего вторжения.
Батальон построили и развели поротно, повзводно....
К засученным палаткам, которые, как и тюремные нары, на день прекращают свою нормальную функцию и собираются зонтиками вокруг центрального столба.
Это чтобы кто-нибудь вроде меня не прикорнул, ненароком, в уютной темноте под шум осин (о, этот шум!), который даже армия не в силах выключить.

...«*послушай, родная, как ветер грустит на берёзах*»...
На берёзах, на осинах... какая разница!
Моей сентиментальности больше берёзы нравились.
А теперь больше нравятся осины того давнего и незатихшего шума.

Почти два года... и такие большие глаза?
Кто мог предвидеть эти стройные стволы на краю света!
Смотри вверх, если большие глаза, предвидь хотя бы раскачку неба, хотя бы падение ветра на чужое лицо, уже не поддающееся идентификации с каким-то каштановым городом... тем более, с треснувшим балконом и рыжим котом.
Какая там, помилуй Бог, *баба Маля!*
Ни к отцу, ни к матери уже не имеет отношения повзрослевший отчуждённостью лоб, брови, симметрично разделившие удивление на неравные части.
Абсолютно самостоятельный чужак наблюдает дальневосточное небо, пытается выковырять его из подвижного невода, от которого постепенно отпадают тёмные тряпки птиц.
Всё так невероятно далеко, что не стоит и пробовать.
Искусственное содержание минуты исчерпано.
В какой-то миг не остаётся смысла ни для чего, кроме завязывания верёвки на перекладине, но когда ты уже просунул голову, вдруг вспомнилось: “...надо проверить кухню!”
Я пошел посмотреть кухню, где собирался и дальше обманывать

службу.
В тайге какая музыка?
Так пусть – кухня...
Но я напрасно беспокоился.
Очередная уловка уже сама меня искала.

– Товарищ сержант, товарищ сержант!!!... – на всякий случай испуганное дневальное лицо сообщило мне, что капитан Оврученко дожидается меня у ленинской комнаты, и тут же исчезло.
На всякий случай.
Так и не посмотрев кухню, двинулся я обратно.
Ленинская комната – самая большая палатка в лагере.
Армия возит её за собой как шкуру соборника.
Правда, бог тут другой, но ведь и «левит» тоже.
В походной ленинской комнате всё было расставлено так, словно кто-то сюда придет молиться этим плакатам, ужасаться проискам американской военщины и вчитываться в сравнительные цифры нарастания вала у нас и у них.
Капитан сидел на табуретке среди всей этой агитации.
Картонные ящики, набросанные у его ног, казались совсем небольшими.
– Так, Левит, слушай меня! Курсантам нужна подшивка, лезвия, мыло, одеколон. Всё здесь. Цены запишешь... подшивочную ткань будешь продавать на сантиметры, деньги передашь мне, я рассчитаюсь с магазином. Смотри не проторгуй!

Эх, товарищ капитан, товарищ капитан!
Впрочем, извините, сами виноваты.
Плохо разбираетесь в людях!
А может, у него не было другого выхода?
Я, по крайней мере, не выпил бы, втихаря, весь одеколон.
И он это знал.
Это было второе и последнее недоразумение Советской Армии с моим еврейством.
И оба раза «пролетели».
Им явно не хватило пристальности во взгляде.
Но второму «пролёту» ещё не скоро наступит час откровения, а пока решено, что жить я буду прямо тут же, в ленинской комнате, вместе с хранителем ее, ефрейтором Талайко, уже полгода как сменившим Ванюшина на посту «вольного» сержанта – почтальона и начальника радиоузла.
Нет... это обязательно!
А куда с этими ящиками – во взвод... под нары?
Хана... сразу всё выпьют!
Русские ж люди!
И он это знал.
А ленинская комната имеет брезентовые застёжки изнутри.
И сейф!

Так проклюнулась в тайге жидовская морда.
Нашла случай и на краю света.
И в армии, – где уже совершенно, казалось бы, нечего делить, где всё разложено по солдатскому пайку, – умудрилась отпереть торговлю.

Негоже, решил тонко чувствующий замполит, в ленинской комнате деревянные нары бить.
(торговать можно)
И привезли из части одну двухэтажную секцию, на которую и уложили молодых.
Вернее, одного «молодого» и одного «дедушку».
И оставили одних.

А они нам всё равно спать не дали.
Одеколон кончился в первую же ночь.
Хорошо, у Талайки – фонарик!
Он светил, я проверял деньги.
И потом, когда уже кончился, всё царапались, царапались в окончательно застёгнутую палатку.
Хоть вывешивай – «ОДЕКОЛОНА НЕТ».
Всё-таки уснули, освободившись от слишком важного товара.
Мне приснился Ленин.
Он стегал меня конной упряжью и кричал, совершенно не картавя: «Я же предупреждал – мой храм должен быть домом молитвы!...” Потом я его выгнал и застегнул палатку до самой земли, потому что оттуда еще долаивало: «...пьедупьеждал... мой хьям...”

Под утро стал слышен одеколон.
Заслуженный «дедушка» второй роты, непогрешимый старший сержант Вишутко, неожиданно и всерьёз обиделся на слишком долгую жизнь, и после того, как он устроил тёмную третью палатку, его безрезультатно вылавливали сочувственные сопризывники – успеть засунуть под нары до того как появится дежурный офицер.
“...бал я ваши походы!”
Так он голосил и бежал среди проснувшегося брезента в возмущении организма, отравленного бритвенным средством.
Вишутку потом отловили и увезли на «губу» в дежурной машине, но подлый запах “Шипра” остался. Его выдыхало из каждой палатки, а когда их засучили – ну, только еще свежую простынь и... лязгнуть ножницами.
Настоящий мужской зал.
А всего двадцать флакончиков.
Видимо, пили не разводя.

К завтраку капитан был.
Его челюсть занимала всё свободное место ленинской комнаты.
Ну, извините, товарищ капитан!
Вы ж не сказали продавать на разлив...
Это была его ошибка, и он знал.
Дело было съедено и замято в молчаливо осыпавшейся зубной эмали.
Одеколон больше не доставляли, и торговля шла спокойно и незаинтересованно вплоть до полного моего банкротства.
Но в следующие несколько дней лишь одно место давало ноздрям отдых от восторжествовавшей в нашем осинничке парикмахерской.
Туалет.
И не потому, о чем вы подумали, а потому что добросовестный санитарный батальон сыплет столько хлорки, сколько необходимо, чтобы отшибить всё.

В том числе и то, о чём вы подумали.

* * *

А когда в траве у твоих ног ползёт какая-то тварь, может оказаться, что она бежит.

У неё длинный хвост как у водяной крысы, нежный мех и не видно лап.

Она резко останавливается и принюхивается к окружающей враждебности.

И дальше бежит.

Ползёт.

Тебе видны мокрая подвижность усатого носика и глаза, в которых так много недоверия к миру, так велико искреннее незнание следующего мгновения...

что хочется прижать к груди всех перепуганных зверей и никогда не возвращаться на улицу сознательного человечества.

Всё катастрофическое здесь... в этом стремительном замирании, в ужасе вставшего дыбом меха, в мольбе скомканного подозрением тельца, которое, в сущности, не рассчитывает на пощаду.

И так сильно отшатывается от мысли, что на этом маленьком пути мог оказаться не ты, а кто-то ловкий, который одним ударом сапога...

что ты вздрагиваешь, и она уполз... убегает.

Ни одного дня покоя.

Его просто нельзя иметь, видя как плох человек, как ему неправильно плохо.

Почему так неправильно?

Почему эти гнутые прутья характеров... почему это скотство, а в нём – любовь?

Почему эта вера в не то, не в то?

Разорвись, а всё равно невозможно...

Столько корысти и стремления к ненужному, столько камня вместо слёз.

И не радость друг за друга... зависть!

И бессонные ночи прицеливания, и удовлетворённый сон лишь после удачного выстрела, когда он захромал.

Всё та же коробка неистоимых гвоздей.

И бойкая торговля молотками.

Улица сознательного человечества слепит языками невыносимых реклам.

Облака летят умирать на север.

Восток предлагает новую кровь.

Запад вступил в беспочвенную гавань, и ему не прощется от изобилия переводчиков.

Нельзя выучить все языки.

Их слишком много.

Нужен один – общего незнания и надежды.

Знание безответственно.

*Оно уже разрушило вышку, и только тогда затихнет
молоток, когда оно будет осуждено.
А пока – ни одного дня...*

* * *

На батальон, загнанный в тайгу, посыпалась мошка.
Говорят, дальневосточный комар не выносит запаха осин, и поэтому
оставляет вместо себя мошку – полномочного преда на кровососание.
Личный состав ходил возбуждённый, потому что мошка любит в губы кусать.
Туалет всё настойчивее пробивал запах хлорки грозным звоном зелёных мух.
Они уже квартировали в палатках и даже в застёгнутой ленинской комнате,
где я торговал зубным порошком и подшивкой.
В талайкином сейфе стояли рядом банка с вырубкой и коробка с письмами.

Копать агитгородок... скамьи... сцену и кинобудку для пропаганды культурного
досуга!
Так нарядил капитан мне и Талайке... и выбрал площадку.
Как неистошима бессмыслица!
Но она была благом, она давала отдельность... освобождала от строя.
(Однако... и бессмыслица ж была!)
Нам доверили мастеров, копателей и пилоделов, и после разбора ежедневной
почты, послушный ефрейтор выводил команду на добросовестный труд рытья
и битья в приструганные доски.
Молоток перекикивал туалет, а я условно командовал.
(Видите... опять молоток!)
Но я покидал эту убеждённую стройку.
Меня мотало по лесу в поисках недолетаемости запаха и неслышимости
молотка.
Непривычное отсутствие чёткого рубежа несвободы давало двойное чувство:
с одной стороны – иди, с другой – куда?
И я кружил около своего отворачивания к общей тропе, внимательно соблюдая
приметы возвращения туда, где пахло и стучало.
Слишком дикими были ягоды этого леса.
И слишком вольно металась в кустах непредсказуемая жизнь.
Я выбредал к реке, и здесь уже было спокойно.
По руслу всегда вернешься в лагерь.
И прямо на кухню.
Желудок разумно располагается у проточной воды.

Лагерная жизнь приняла меня в роли бродячего сержанта.
Талайко не искал, а клал мне письма прямо на койку, капитан принимал
объяснения об отсутствии, не очень занимаясь сличением придуманных
мотивов. Казалось, – армия чувствовала болезнь каждого из оставшихся ста
дней, эту типичную дембельскую инфекцию, и бессильная помочь разрешала
хоть свободно мучиться.

Наши состарившиеся военные лица косило всё более похожей гримасой. Общие темы теперь возникали свободно за дембельским столом. Они уже не обижались на мою «морду», они слишком страдали... мы все слишком страдали в одной душегубке... мы узнавали друг друга по тоскливому хрипу.

Нам всем не хватало дышать.

Оголодавший зверь тоски мог войти ночью в любую палатку, где спит дембель...

...войти и насытить косматое брюхо.

Отваренные в двухлетнем борще легко отделяются от костей присяги и тут же усваиваются тонким кишечником ностальгии.

А может, и казалось!

Я допускаю, что под безжалостной пыткой тоски теряешь ориентиры, и узнавая в глазах напротив ту же тоску, принимаешь за понимание.

Но в таком случае, нам необходима общая тоска.

Вглядитесь в спокойных!

Из них вербуют палачей.

Нам нужна общая тоска, как единственное средство узнать друг друга.

Моя лесная память сохранила баню.

Ответственная, в силу нерегулярности, помывка личного состава была оборудована у реки на лысом глиняном пригорке. Гофрированные хоботы насасывали из течения и подавали хилый напор в неустойчивые душевые через урчащие котлы, гревшие плохо и неравномерно от захлёбывающегося динамо.

И вот из дрожи полусогретых тел сложилось страшносудное видение.

Мы толпились длинной очередью в область, отгороженную щитами, но там, за щитами, уже раздевшись, мы всё ещё стояли повзводно... сержанты возглавляли свои отделения – голые продолжали строить голых, хотя признаки старшинства пропали.

А потом мы повзводно мылись на лысом пригорке под вялыми плевками тёплой воды.

Нас было видно и реке, и лесу, и солнцу, сползающему с горы.

Наверно, мы напоминали толпу розовых ангелов в очень похожих одеждах.

Блондины создавали редкие паузы.

Не так уж их и много, стопроцентных блондинов.

И молчалось... и не гляделось друг на друга, а подозрительно озиралось на окружавший вечер, в котором могло произойти что угодно... любая невзгода готова была постигнуть гусиные тела.

Мы мучительно ожидали какого-то озорного женского согляданья с той стороны речки и тёрлись быстрее, чтобы заслонить хоть движением рук.

Но так велик Дальний Восток, что зря мы опасались.

Среднестатистическая подглядывающая женщина здесь крайне редко попадает на среднестатистического моющего мужчину.

Правда, численность батальона уплотняла вероятность, но... вот и новую смену трусов уже получать, а никого нет по ту сторону потока.

И сошло с горы солнце, и вылилась из неустойчивых душ вся вода.

Мы шли на ужин.

Помытые и одинаковые.
Поголовье свежеччищенных луковиц.
Солдатским пюре овладел запах мыла.

После этого уже не так важно, расстегнуть ли и выйти под высокую светлую ночь, или простоять внутри застёгнутого ленинизма, так и не осмелившись, а молча слушая спящего ефрейтора.

Уже не так важно.

Оно и там, и здесь... и оно так страшно, как может быть страшно оно.

Всегда первое и последнее, всегда одно и то же... даже скучное своей окончательностью знание: *вокруг спят голые люди.*

Отрубленные руки времени тоже живут неравномерно.

Переступаешь, а она дёргается.

А иногда всего один палец зовёт с уже мёртвой ладони.

И ещё долго будет звать из переступленного прошлого, возвращая в маленькое, но важное... а значит, уже не маленькое, потому что важное не выглядит маленьким, и в конечном счёте... нет маленького и большого, есть важное и неважное.

А неважного вообще не бывает.

* * *

Это произошло под конец.

Уже не посылали машины со взводами на праздничную раскраску медсанбата. Мы прочно сели в лагере, ожидая, когда, наконец, переступит через нас вельможная нога.

К тому времени я уже проторговался, оставив капитана с сорока рублями долга гарнизонному магазину. Ужаса не случилось, но заплатить ему пришлось, а я с позором покинул скинию собрания и ушёл спать во взводную палатку, где по проекту было мне зарезервировано пахучее деревянное место.

Ушёл, как развенчанный жрец.

А какие с меня взятки?

Сержантская зарплата всего на несколько рублей превышает курсантские три восемьдесят.

Да... так – под конец.

Взвод разбросало по бережку командой: “Вольно, разойдись!”, обозначившей конец строевого занятия, такого же лишнего лейтенанту Бугаю, как и всем остальным, так и не научившимся выполнять команды с оружием.

Душный день трещал всевозможной травной живностью, мошка не погналась за нами... осталась в тени осин.

Нас оказалось двое в неожиданной паузе армии, и всё менее убедительным становилось молчать.

Мы встали от взаимной неестественности.

Нас было видно с реки, и нам было видно солнечное бездорожье, слабый перелесок по ту сторону.

– Ты не обижайся... за то... сам видишь, какая тут жизнь!
– Вижу.
– Скоро на дембель уйдешь... – он стоял мимо меня потным загорелым лбом и отмухивался, – да-а-а... ж-ж-жизнь!...
И покачал головой, но не справа налево, как сожалеют о ком-то, а сверху вниз, утвердительно и безвыходно – как о себе.
Командир второго взвода
первой роты
отдельного
учебного
медико-санитарного батальона.

Кто его знает... может он вообще окулистом хотел быть?!

* * *

*Как иметь покой, когда кого-то прибили?
Как любить мир, в котором всё время кого-то
прибивают?
С самого начала – поздно...
А собственная жизнь приснится!
Вся в ожогах увилваний, в слякоти страха, в гное
разложившегося прошлого.
... «лишь розы увядают, амброзией дыша»...
Ничто человеческое не умирает, дыша амброзией.
В воздухе умирающего человеческого невозможно
стоять.
С кладбища несёт протухшей тётей Малей...
...балкон крошится, пораженный трещинами
воспоминаний, которые едят бетон...
...недорезанный Лёнька живёт где-то совсем рядом, но
бесповоротно по-соседству с матерью своего сына...
А голову поднимешь, тебе осыплется позорное шуршание
твоей истлевшей любви...
...и в нём – в шуршании – не будет ответа на вопрос.
Нету даже посмертности... только недоуменная досада,
сильно пахнущая раскаянием.
Всё подвергнуто отрицанию временем, отмечено
поминальными цветами, от которых уже тоже – один
хворост.*

Я еду домой.
Семеро купейных суток – достаточная резина, чтобы успеть отрыгнуть последнее.
Да и нечего особенно...
Всё скатилось грязными комьями.

Нервно и тяжело.
Вельможная нога и не подумала ступить в наше обиталище.
Но агитгородок мы докопали и параллельно врыли скамьи, на которые никто не сел.
Лагерное лето завершилось внезапным организованным увозом.
Побросали в грузовики, и – обратно в часть.
И еще раз высыпали: “Теперь здесь защищайте!...”

...было, было, было... всё было как в армии... нервно и тяжело... нечестно в чудовищной армейской справедливости... грубо... глубоко безразлично друг к другу... ежедневно.
Выдавленный двухлетний тюбик, из которого больше уже не давится.
Нечем смазать ржавую зубную щетку.

А потом снова снегом по отмытому медсанбату...
гвоздь в районе пятки,
сухая мозоль,
ненадевающийся сапог,
ковыляние по казарме,
окрики офицеров в спину, которая не реагирует, потому что всё равно...
потому что уже всё равно...
потому что **это** всё равно никогда не кончится, так пусть как хотят... хоть убьют...

Ротные марши мимо, мимо, мимо... а потом – приказ... долгожданное,
которого уже не ждешь... ничего не ждешь... только тетрадку с рифмованным отчаянием носишь под окаменевшей мышкой...

Торжественная пьянка «дедушек» проплакала где-то далеко, в бытовке, и оттуда же донеслись крики дежурного по части: “...себе позволяете! Я вас... дисбат... у меня!”
И ответное дембельское, пьяное... сумасшедшее от случившегося счастья:
“Не прикасайтесь ко мне, товарищ лейтенант... человек я... я гражданский человек..... не ручаюсь!”
...какая-то возня, чуть ли не бой...
...заглохшая от ужаса казарма...
...ночь...
Вызвали конвой с начальником караула, но никого не забрали.
Есть совесть даже у погон – не трогать... нельзя.....
нельзя трогать раненое животное, нельзя ему вменять его оскаленный рык.

... было,

было,

было...

они разъезжались... армия свела со мной последний счет... я видел отъезд всех... съел всю муку последнего невозможного терпения.
Я видел глаза Оврученко, потерявшего ко мне интерес, и не просил... уже не просил после встречи с этим взглядом...

Я еду домой.
Ещё волочится последнее утро.

Двенадцатого ноября я ушёл из части навсегда.
Оно так и осталось лежать лицом в сне.
Оно совсем не уменьшилось в размерах.
Оно вообще не имело ко мне никакого отношения.

Типичная прожитая жизнь.

* * *

1989
Киев – Франкфурт-на-Майне